

100 великих романов

Федор
ДОСТОЕВСКИЙ

ПОДРОСТОК



100 великих романов

Федор Достоевский

Подросток

«ВЕЧЕ»

1875

Достоевский Ф. М.

Подросток / Ф. М. Достоевский — «ВЕЧЕ», 1875 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4484-7906-9

В романе «Подросток» великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) рассказывает о юноше с непростой судьбой, его взрослении и становлении как личности. Аркадий – незаконнорожденный сын помещика Версилова – стремится всеми силами разбогатеть, властвовать над людьми, мечтает о взаимной страстной любви. Но, как и все герои Достоевского, мучимый противоречивыми чувствами и комплексами, молодой человек оказывается в гуще самых непредсказуемых событий. Этот роман актуален и сегодня. Автор с присущим ему знанием психологии раскрывает самые тонкие струны юной души, трудности взросления и принятия первых серьезных жизненных решений.

ISBN 978-5-4484-7906-9

© Достоевский Ф. М., 1875

© ВЕЧЕ, 1875

Содержание

Скриптотерапия Достоевского	6
Часть первая	8
Глава первая	8
I	8
II	8
III	8
IV	10
V	11
VI	13
VII	14
VIII	16
Глава вторая	18
I	18
II	20
III	22
IV	27
Глава третья	30
I	30
II	30
III	33
IV	37
V	37
VI	39
Глава четвертая	42
I	42
II	44
III	48
IV	50
Глава пятая	52
I	52
II	53
III	56
IV	59
Глава шестая	63
I	63
II	66
III	70
IV	73
Глава седьмая	77
I	77
II	79
III	83
IV	84
Глава восьмая	86
I	86
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Федор Достоевский

Подросток

© Клех И.Ю., вступительная статья, 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Скриптотерапия Достоевского

Достоевский сочинял романы идеологические и полифоничные, в чем и состояла их новизна, по авторитетному утверждению философа Бахтина. Главным образом писателя интересовали герои с насущной и предельно заостренной «идеей», не дающей им самим и автору покоя. В нематериальном мире идей никогда не затихает сражение, и поверженные или вытесненные идеи оживают и возвращаются вновь и вновь. Интеллектуально спор идей неразрешим, и оттого они нуждаются в проверке их продуктивности или деструктивности. Этим и занялся писатель, позволив своим героям выговориться до края и упора. Если воспользоваться одним из образов Достоевского, в паутине его романов навечно завязли и без умолку жужжат разнообразные одержимые – социопаты и истероидные психопаты, стяжатели и разнузданные сладоглоты, аферисты всех мастей, игроманы и маргиналы с психологией подполья, страдающие мнительностью, навязчивыми идеями и бредом преследования. А противостоят им единичные герои и героини, также не чуждые истерике, но добрые по природе, совестливые и несколько анемичные, которые пытаются сопротивляться злу, прущему изо всех щелей. Но всего сложнее и реалистичнее, когда конфликт между ровно противоположными «идеями» и устремлениями становится внутренним и разыгрывается в душе одного и того же человека, надрывая ее.

Разобраться в сути такого рода конфликта, надрыва и истерик по-раскольничьи топорно попробовал Фрейд в психоаналитическом предисловии к немецкому переводу «Братьев Карамазовых» с провокационным названием «Достоевский и отцеубийство». Радикальный религиозный философ Шестов подошел к проблеме с другого конца, поставив знак равенства между «историей перерождения убеждений» Достоевского и «переоценкой всех ценностей» Ницше и объявив обоих врагами рассудочной морали Нового времени, гениями «подполья» и воскресителями «философии трагедии». Действительно, распрощавшись с прежними кумирами, Шопенгауэром и Вагнером, Ницше признал родственную душу в одном только Достоевском, и то отчасти: «Это единственный психолог, у которого я мог кое-чему научиться, и знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни». Надо сказать, что на Западе вообще предпочитали психологизировать творчество и образ Достоевского, почитая его как величайшего писателя-психолога и критически оценивая как религиозного мыслителя, моралиста и государственника славянофильского толка. Более всего ценился подобранный им ключ к так называемой русской душе, а также к психологии подпольного человека и извращенной логике криминального сознания.

Оттого не может не удивлять признание Эйнштейна, что один из величайших ученых обязан своими открытиями несравненно больше романам Достоевского, чем математике Гаусса. Признание парадоксальное (правда, в отличие от Ньютона, создатель теории относительности не очень силен был в математике) – и это интереснейший момент, перекидывающий мостик поверх всех барьеров между художественным и научным мышлением. Естественно предположить, что в основе всякого творчества лежит страсть, а именно: желание и необходимость породить, воплотить и обосновать некий ключевой образ – будь то пещера Платона, механика Ньютона, таблица Менделеева, нелинейное пространство-время Эйнштейна или обнаруженные Достоевским тайные ходы в наше подсознание, позже исследованное и описанное Фрейдом. Вероятно, интеллектуальному бесстрашию в опрокидывании привычных представлений и научил физика с психоаналитиком писатель-романист.

Из всех романов Достоевского «Подросток» самый не полифонический и монологичный, поскольку сочинен в жанре исповеди. Жанр этот вошел в моду после Руссо, повлиявшего не лучшим образом, в частности, на творчество позднего Гоголя, Достоевского и Толстого. Зачем так строго? Да оттого, что Жан-Жак-моралист лицемерит как дышит, живописуя мелкие пако-

сти и скрывая за их завесой самое постыдное в своих отношениях с людьми, безуспешно пытаясь сам себя и других обмануть. На крючок его демонстративной искренности попались многие, и разве что Достоевский в «Подростке» ухитрился увернуться, принеся в жертву Руссо героя своего романа.

Этот изобилующий интригами, психологическими ребусами и парадоксами роман словно предназначен для тренинга дипломатов, шпионов и родителей, перестающих понимать своих детей. Подросток Достоевского – недоросль, бастард, обиженный «случайный сын случайного семейства», а время действия – пореформенная Россия, состояние которой точнее всех определил Толстой как время, когда все у нас «переверотилось и только укладывается». Времена радикальной ломки прежней социальной структуры всегда и везде переживаются не легче иной войны. Не только древним китайцам это было давно известно, однако всякий раз воспринимается нами как сюрприз. Не случайно в «Подростке» чаще всех других встречается слово «вдруг», словно позаимствованное из древнерусских летописей, повествующих о нескончаемых пожарах и нашествиях. Этот роман Достоевского воспринимался современниками как бы в одном пакете с романами его главных соперников – «Отцами и детьми» Тургенева и «Анной Карениной» Толстого. Сам писатель это прекрасно сознавал, но как же непохож его катастрофический диагноз состояния русского общества на представленный ими, а его взвинченный и нервический тон – на эпический и уравновешенный тон их романов! Возможно, они были более мужественными и стойкими, а он – более дальнзорким и не верящим, что все перемелется. Вообще, Достоевский – писатель преимущественно XX века, когда слава его сделалась всемирной, а предугаданный им негатив осуществился сверх всякой меры. Лучше бы ему и остаться грандиозной фигурой прошлого века, да только читатели для этого не очень изменились – не желают взростеть «подростки», если не наоборот. А ведь для этого писался его роман.

Сам Достоевский определял его не как не традиционный роман воспитания, а как «роман перевоспитания». Задним числом главный герой романа дает понять, что переболел и не желает более ни денег, как у Ротшильда, ни могущества, какое они сообщают, ни даже отщепеня всему миру за свою недолюбленность. Он намекает, что неузнаваемо преобразился благодаря обновленной «идее», которая «та самая, что и прежде, но уже совершенно в ином виде, так что ее уже и узнать нельзя». Можно только гадать, какая теперь, но Бог в помощь.

Похоже, подсказать это способен содержащийся в речах биологического отца подростка черновой набросок будущей Пушкинской речи самого Достоевского, так сказать, в версии Версилова. Рецепт духоподъемный, с претензией на мессианство, но очень уж спорный поныне. В большей степени «умоперемене», то есть покаянию Подростка, могла способствовать кончина его официального отца, смиренного странника-богомольца, но и об этом можно лишь догадываться. Развязки в романах Достоевского слишком часто выглядят оборванными и оттого стусеиваются (писатель гордился, кстати, что это словцо из лексикона чертежников вошло в русский язык и прижилось благодаря ему). Да и мало шансов было усмирить клокочущие во всех его романах противоречия.

Самому автору это как-то – и отменно! – удавалось благодаря скриптотерапии, исцелению с помощью письма, своего рода сбивчивой литературной исповеди. Метод не новый и многократно опробованный, в том числе и его героем Подростком. Но необходима консультация со специалистом.

Игорь Клев

Часть первая

Глава первая

I

Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю наверно: никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до ста лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвал читателя. Если я вдруг вздумал записать слово в слово все, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности: до того я поражен всем совершившимся. Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное – от литературных красот; литератор пишет тридцать лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я – не литератор, литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью. С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно без описания чувств и без размышлений (может быть, даже пошлых): до того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя. Размышления же могут быть даже очень пошлы, потому что то, что сам ценишь, очень возможно, не имеет никакой цены на посторонний взгляд. Но все это в сторону. Однако вот и предисловие; более, в этом роде, ничего не будет. К делу; хотя ничего нет мудренее, как приступить к какому-нибудь делу, – может быть, даже и ко всякому делу.

II

Я начинаю, то есть я хотел бы начать, мои записки с девятнадцатого сентября прошлого года, то есть ровно с того дня, когда я в первый раз встретил...

Но объяснить, кого я встретил, так, заранее, когда никто ничего не знает, будет пошло; даже, я думаю, и тон этот пошл: дав себе слово уклоняться от литературных красот, я с первой строки впадаю в эти красоты. Кроме того, чтобы писать толково, кажется, мало одного желания. Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском. Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написанного. Как это так выходит, что у человека умного высказанное им гораздо глупее того, что в нем остается? Я это не раз замечал за собой и в моих словесных отношениях с людьми за весь этот последний роковой год и много мучился этим.

Я хоть и начну с девятнадцатого сентября, а все-таки вставлю слова два о том, кто я, где был до того, а стало быть, и что могло быть у меня в голове хоть отчасти в то утро девятнадцатого сентября, чтоб было понятнее читателю, а может быть, и мне самому.

III

Я – кончивший курс гимназист, а теперь мне уже двадцать первый год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой – Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я – законнорожденный, хотя я, в высшей степени, незаконный сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло таким

образом: двадцать два года назад помещик Версилов (это-то и есть мой отец), двадцати пяти лет, посетил свое имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был еще чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою все мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенною загадкой. Но, собственно, об этом после. Этого так не расскажешь. Этим человеком и без того будет наполнена вся тетрадь моя.

Он как раз к тому времени овдовел, то есть к двадцати пяти годам своей жизни. Женат же был на одной из высшего света, но не так богатой, Фанариотовой, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой, столь рано его оставившей, супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах; да и много из частных обстоятельств жизни Версилова от меня ускользнуло, до того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря, минутами, на поражающее как бы смирение его передо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего тысяч на четыреста с лишком и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки...

Приехал он тогда в деревню «бог знает зачем», по крайней мере сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем, по обыкновению, а у родственников; так он всю жизнь поступал с своими детьми, с законными и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много; между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий. Вставлю здесь, чтобы раз навсегда отвязаться: редко кто мог столько вылиться на свою фамилию, как я, в продолжение всей моей жизни. Это было, конечно, глупо, но это было. Каждый-то раз, как я вступал куда-либо в школу или встречался с лицами, которым, по возрасту моему, был обязан отчетом, одним словом, каждый-то учителяшка, гувернер, инспектор, поп – все, кто угодно, спрося мою фамилию и услышав, что я Долгорукий, непременно находили для чего-то нужным прибавить:

– Князь Долгорукий?

И каждый-то раз я обязан был всем этим праздным людям объяснять:

– Нет, *просто* Долгорукий.

Это *просто* стало сводить меня наконец с ума. Замечу при сем, в виде феномена, что я не помню ни одного исключения: все спрашивали. Иным, по-видимому, это совершенно было не нужно; да и не знаю, к какому бы черту это могло быть хоть кому-нибудь нужно? Но все спрашивали, все до единого. Услышав, что я *просто* Долгорукий, спрашивавший обыкновенно обмеривал меня тупым и глупо-равнодушным взглядом, свидетельствовавшим, что он сам не знает, зачем спросил, и отходил прочь. Товарищи-школьники спрашивали всех оскорбительнее. Школьник как спрашивает новичка? Затерявшийся и конфузющийся новичок, в первый день поступления в школу (в какую бы то ни было), есть общая жертва: ему приказывают, его дразнят, с ним обращаются как с лакеем. Здоровый и жирный мальчишка вдруг останавливается перед своей жертвой, в упор и долгим, строгим и надменным взглядом наблюдает ее несколько мгновений. Новичок стоит перед ним молча, косится, если не трус, и ждет, что-то будет.

– Как твоя фамилия?

– Долгорукий.

– Князь Долгорукий?

– Нет, *просто* Долгорукий.

– А, *просто*! Дурак.

И он прав: ничего нет глупее, как называться Долгоруким, не будучи князем. Эту глупость я таскаю на себе без вины. Впоследствии, когда я стал уже очень сердиться, то на вопрос: ты князь? всегда отвечал:

– Нет, я – сын дворового человека, бывшего крепостного.

Потом, когда уж я в последней степени озлился, то на вопрос: вы князь? твердо раз ответил:

– Нет, просто Долгорукий, незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова.

Я выдумал это уже в шестом классе гимназии, и хоть вскорости несомненно убедился, что глуп, но все-таки не сейчас перестал глупить. Помню, что один из учителей – впрочем, он один и был – нашел, что я «полон мстительной и гражданской идеи». Вообще же приняли эту выходку с какою-то обидною для меня задумчивостью. Наконец, один из товарищей, очень едкий малый и с которым я всего только в год раз разговаривал, с серьезным видом, но несколько смотря в сторону, сказал мне:

– Такие чувства вам, конечно, делают честь, и, без сомнения, вам есть чем гордиться; но я бы на вашем месте все-таки не очень праздновал, что незаконнорожденный... а вы точно именинник!

С тех пор я перестал *хвалиться*, что незаконнорожденный.

Повторю, очень трудно писать по-русски: я вот исписал целых три страницы о том, как я злился всю жизнь за фамилию, а между тем читатель наверно уж вывел, что злюсь-то я именно за то, что я не князь, а просто Долгорукий. Объясняться еще раз и оправдываться было бы для меня унижительно.

IV

Итак, в числе этой дворни, которой было множество и кроме Макара Иванова, была одна девица, и была уже лет восемнадцати, когда пятидесятилетний Макар Долгорукий вдруг обнаружил намерение на ней жениться. Браки дворовых, как известно, происходили во времена крепостного права с дозволения господ, а иногда и прямо по распоряжению их. При имении находилась тогда тетушка; то есть она мне не тетушка, а сама помещица; но, не знаю почему, все всю жизнь ее звали тетушкой, не только моей, но и вообще, равно как и в семействе Версилова, которому она чуть ли и в самом деле не сродни. Это – Татьяна Павловна Пруткова. Тогда у ней еще было в той же губернии и в том же уезде тридцать пять своих душ. Она не то что управляла, но по соседству надзирала над имением Версилова (в пятьсот душ), и этот надзор, как я слышал, стоил надзора какого-нибудь управляющего из ученых. Впрочем, до знаний ее мне решительно нет дела; я только хочу прибавить, откинув всякую мысль лести и заискивания, что эта Татьяна Павловна – существо благородное и даже оригинальное.

Вот она-то не только не отклонила супружеские наклонности мрачного Макара Долгорукого (говорили, что он был тогда мрачен), но, напротив, для чего-то в высшей степени их поощрила. Софья Андреева (эта восемнадцатилетняя дворовая, то есть мать моя) была круглою сиротою уже несколько лет; покойный же отец ее, чрезвычайно уважавший Макара Долгорукого и ему чем-то обязанный, тоже дворовый, шесть лет перед тем, помирая, на одре смерти, говорят даже, за четверть часа до последнего издыхания, так что за нужду можно бы было принять и за бред, если бы он и без того не был неспособен, как крепостной, подозревая Макара Долгорукого, при всей дворне и при присутствовавшем священнике, завещал ему вслух и настоятельно, указывая на дочь: «Взрасти и возьми за себя». Это все слышали. Что же до Макара Иванова, то не знаю, в каком смысле он потом женился, то есть с большим ли удовольствием или только исполняя обязанность. Вероятнее, что имел вид полного равнодушия. Это был человек, который и тогда уже умел «показать себя». Он не то чтобы был начетчик или грамотей (хотя знал церковную службу всю и особенно житие некоторых святых, но более понаслышке), не то чтобы был вроде, так сказать, дворового резонера, он просто был характера упрямого, подчас даже рискованного; говорил с амбицией, судил бесповоротно и, в заключение, «жил почтительно», – по собственному удивительному его выражению, – вот он каков был тогда. Конечно, уважение он приобрел всеобщее, но, говорят, был всем несносен. Другое

дело, когда вышел из дворни: тут уж его не иначе поминали как какого-нибудь святого и много претерпевшего. Об этом я знаю наверно.

Что же до характера моей матери, то до восемнадцати лет Татьяна Павловна продержала ее при себе, несмотря на настояния приказчика отдать в Москву в ученье, и дала ей некоторое воспитание, то есть научила шить, кроить, ходить с девичьими манерами и даже слегка читать. Писать моя мать никогда не умела сносно. В глазах ее этот брак с Макаром Ивановым был давно уже делом решенным, и все, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим; под венец пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях, так что сама уж Татьяна Павловна назвала ее тогда рыбой. Все это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павловны. Версилов приехал в деревню ровно полгода спустя после этой свадьбы.

V

Я хочу только сказать, что никогда не мог узнать и удовлетворительно догадаться, с чего именно началось у него с моей матерью. Я вполне готов верить, как уверял он меня прошлого года сам, с краской в лице, несмотря на то, что рассказывал про все это с самым непринужденным и «остроумным» видом, что романа никакого не было вовсе и что все вышло *так*. Верю, что так, и русское слово это: *так* – прелестно; но все-таки мне всегда хотелось узнать, с чего именно у них могло произойти. Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно только бесстыжее любопытство с моей стороны. Замечу, что мою мать я, вплоть до прошлого года, почти не знал вовсе; с детства меня отдали в люди, для комфорта Версилова, об чем, впрочем, после; а потому я никак не могу представить себе, какое у нее могло быть в то время лицо. Если она вовсе не была так хороша собой, то чем мог в ней прельститься такой человек, как тогдашний Версилов? Вопрос этот важен для меня тем, что в нем чрезвычайно любопытною стороною рисуется этот человек. Вот для чего я спрашиваю, а не из разврата. Он сам, этот мрачный и закрытый человек, с тем милым простодушием, которое он черт знает откуда брал (точно из кармана), когда видел, что это необходимо, – он сам говорил мне, что тогда он был весьма «глупым молодым щенком» и не то что сентиментальным, а *так*, только что прочел «Антон Горемыку» и «Полиньку Сакс» – две литературные вещи, имевшие необъятное цивилизующее влияние на тогдашнее подрастающее поколение наше. Он прибавлял, что из-за «Антон Горемыки», может, и в деревню тогда приехал, – и прибавлял чрезвычайно серьезно. В какой же форме мог начать этот «глупый щенок» с моей матерью? Я сейчас вообразил, что если б у меня был хоть один читатель, то наверно бы расхохотался надо мной, как над смешнейшим подростком, который, сохранив свою глупую невинность, суется рассуждать и решать, в чем не смылит. Да, действительно, я еще не смылю, хотя сознаюсь в этом вовсе не из гордости, потому что знаю, до какой степени глупа в двадцатилетнем верзиле такая неопытность; только я скажу этому господину, что он сам не смылит, и докажу ему это. Правда, в женщинах я ничего не знаю, да и знать не хочу, потому что всю жизнь буду плевать и дал слово. Но я знаю, однако же, наверно, что иная женщина обольщает красотой своей, или там чем знает, в тот же миг; другую же надо полгода разжевывать, прежде чем понять, что в ней есть; и чтобы рассмотреть такую и влюбиться, то мало смотреть и мало быть просто готовым на что угодно, а надо быть, сверх того, чем-то еще одаренным. В этом я убежден, несмотря на то что ничего не знаю, и если бы было противное, то надо бы было разом низвести всех женщин на степень простых домашних животных и в таком только виде держать их при себе; может быть, этого очень многим хотелось бы.

Я знаю из нескольких рук положительно, что мать моя красавицей не была, хотя тогдашнего портрета ее, который где-то есть, я не видал. С первого взгляда в нее влюбиться, стало быть, нельзя было. Для простого «развлечения» Версилов мог выбрать другую, и такая там

была, да еще незамужняя, Анфиса Константиновна Сапожкова, сенная девушка. А человеку, который приехал с «Антоном Горемыкой», разрушать, на основании помещичьего права, святость брака, хотя и своего дворового, было бы очень зазорно перед самим собою, потому что, повторяю, про этого «Антон Горемыку» он еще не далее как несколько месяцев тому назад, то есть двадцать лет спустя, говорил чрезвычайно серьезно. Так ведь у Антона только лошадь увели, а тут жену! Произошло, значит, что-то особенное, отчего и проиграла m-lle Сапожкова (по-моему, выиграла). Я приставал к нему раз-другой прошлого года, когда можно было с ним разговаривать (потому что не всегда можно было с ним разговаривать), со всеми этими вопросами и заметил, что он, несмотря на всю свою светскость и двадцатилетнее расстояние, как-то чрезвычайно кривился. Но я настоял. По крайней мере с тем видом светской брезгливости, которую он неоднократно себе позволял со мною, он, я помню, однажды промямлил как-то странно: что мать моя была одна такая особа из *незащищенных*, которую не то что полюбишь, – напротив, вовсе нет, – а как-то вдруг почему-то *пожалеешь*, за кротость, что ли, впрочем, за что? – это всегда никому не известно, но пожалеешь надолго; пожалеешь и привяжешься... «Одним словом, мой милый, иногда бывает так, что и не отвяжешься». Вот что он сказал мне; и если это действительно было так, то я принужден почесть его вовсе не таким тогдашним глупым щенком, каким он сам себя для того времени аттестует. Это-то мне и надо было.

Впрочем, он тогда же стал уверять, что мать моя полюбила его по «приниженности»: еще бы выдумал, что по крепостному праву! Соврал для шику, соврал против совести, против чести и благородства!

Все это, конечно, я наговорил в какую-то как бы похвалу моей матери, а между тем уже заявил, что о ней, тогдашней, не знал вовсе. Мало того, я именно знаю всю непроходимость той среды и тех жалких понятий, в которых она зачерствела с детства и в которых осталась потом на всю жизнь. Тем не менее беда совершилась. Кстати, надо поправиться: улетев в облака, я забыл об факте, который, напротив, надо бы выставить прежде всего, а именно: началось у них прямо с *беды*. (Я надеюсь, что читатель не до такой степени будет ломаться, чтоб не понять сразу, об чем я хочу сказать.) Одним словом, началось у них именно по-помещичьи, несмотря на то что была обойдена m-lle Сапожкова. Но тут уже я вступлюсь и заранее объявляю, что вовсе себе не противоречу. Ибо об чем, о господи, об чем мог говорить в то время такой человек, как Версиров, с такою особою, как моя мать, даже и в случае самой неотразимой любви? Я слышал от развратных людей, что весьма часто мужчина, с женщиной сходясь, начинает совершенно молча, что, конечно, верх чудовищности и тошноты; тем не менее Версиров, если б и хотел, то не мог бы, кажется, иначе начать с моею матерью. Неужели же начать было объяснять ей «Полиньку Сакс»? Да и сверх того, им было вовсе не до русской литературы; напротив, по его же словам (он как-то раз расхотелся), они прятались по углам, поджидали друг друга на лестницах, отскакивали как мячики, с красными лицами, если кто проходил, и «тиран помещик» трепетал последней полумойки, несмотря на все свое крепостное право. Но хоть и по-помещичьи началось, а вышло так, да не так, и, в сущности, все-таки ничего объяснить нельзя. Даже мраку больше. Уж одни размеры, в которые развилась их любовь, составляют загадку, потому что первое условие таких, как Версиров, – это тотчас же бросить, если достигнута цель. Не то, однако же, вышло. Согрешить с миловидной дворовой вертушкой (а моя мать не была вертушкой) развратному «молодому щенку» (а они были все развратны, все до единого – и прогрессисты и ретрограды) – не только возможно, но и неминуемо, особенно взяв романтическое его положение молодого вдовца и его бездельничанье. Но полюбить на всю жизнь – это слишком. Не ручаюсь, что он любил ее, но что он таскал ее за собою всю жизнь – это верно.

Вопросов я наставил много, но есть один самый важный, который, замечу, я не осмелился прямо задать моей матери, несмотря на то что так близко сошелся с нею прошлого года и, сверх того, как грубый и неблагодарный щенок, считающий, что *перед ним виноваты*, не церемонился с нею вовсе. Вопрос следующий: как она-то могла, она сама, уже бывшая полгода в

браке, да еще придавленная всеми понятиями о законности брака, придавленная, как бессильная муха, она, уважавшая своего Макара Ивановича не меньше чем какого-то бога, как она-то могла, в какие-нибудь две недели, дойти до такого греха? Ведь не развратная же женщина была моя мать? Напротив, скажу теперь вперед, что быть более чистой душой, и так потом во всю жизнь, даже трудно себе и представить. Объяснить разве можно тем, что сделала она не помня себя, то есть не в том смысле, как уверяют теперь адвокаты про своих убийц и воров, а под тем сильным впечатлением, которое, при известном простодушии жертвы, овладевает фатально и трагически. Почему знать, может быть, она полюбила до смерти... фасон его платья, парижский пробор волос, его французский выговор, именно французский, в котором она не понимала ни звука, тот романс, который он спел за фортепьяно, полюбила нечто никогда не виданное и не слыханное (а он был очень красив собою), и уж заодно полюбила, прямо до изнеможения, всего его, с фасонами и романсами. Я слышал, что с дворовыми девушками это иногда случалось во времена крепостного права, да еще с самыми честными. Я это понимаю, и подлец тот, который объяснит это лишь одним только крепостным правом и «приниженностью»! Итак, мог же, стало быть, этот молодой человек иметь в себе столько самой прямой и обольстительной силы, чтобы привлечь такое чистое до тех пор существо и, главное, такое совершенно разнородное с собою существо, совершенно из другого мира и из другой земли, и на такую явную гибель? Что на гибель – это-то и мать моя, надеюсь, понимала всю жизнь; только разве когда шла, то не думала о гибели вовсе; но так всегда у этих «беззащитных»: и знают, что гибель, а лезут.

Согрешив, они тотчас покаялись. Он с остроумием рассказывал мне, что рыдал на плече Макара Ивановича, которого нарочно призвал для сего случая в кабинет, а она – она в то время лежала где-то в забытьи, в своей дворовой клетушке...

VI

Но довольно о вопросах и скандальных подробностях. Версиков, выкупив мою мать у Макара Иванова, вскорости уехал и с тех пор, как я уже и прописал выше, стал ее таскать за собою почти повсюду, кроме тех случаев, когда отлучался подолгу; тогда оставлял большею частью на попечении тетушки, то есть Татьяны Павловны Прутковой, которая всегда откуда-то в таких случаях подвертывалась. Живали они и в Москве, живали по разным другим деревням и городам, даже за границей и, наконец, в Петербурге. Обо всем этом после или не стоит. Скажу лишь, что год спустя после Макара Ивановича явился на свете я, затем еще через год моя сестра, а затем уже лет десять или одиннадцать спустя – болезненный мальчик, младший брат мой, умерший через несколько месяцев. С мучительными родами этого ребенка кончилась красота моей матери, – так по крайней мере мне сказали: она быстро стала стареть и хилеть.

Но с Макаром Ивановичем сношения все-таки никогда не прекращались. Где бы Версиковы ни были, жили ли по несколько лет на месте или переезжали, Макар Иванович непременно уведомлял о себе «семейство». Образовались какие-то странные отношения, отчасти торжественные и почти серьезные. В господском быту к таким отношениям непременно приешалось бы нечто комическое, я это знаю; но тут этого не вышло. Письма присылались в год по два раза, не более и не менее, и были чрезвычайно одно на другое похожие. Я их видел; в них мало чего-нибудь личного; напротив, по возможности одни только торжественные извещения о самых общих событиях и о самых общих чувствах, если так можно выразиться о чувствах: извещения прежде всего о своем здоровье, потом спросы о здоровье, затем пожелания, торжественные поклоны и благословения – и все. Именно в этой общности и безличности и полагается, кажется, вся порядочность тона и все высшее знание обращения в этой среде. «Достолюбезной и почтенной супруге нашей Софье Андреевне посылаю наш нижайший поклон»... «Любезным деткам нашим посылаю родительское благословение наше вовеки нерушимое». Детки все прописывались поимянно, по мере их накопления, и я тут же. При этом замечу,

что Макар Иванович был настолько остроумен, что никогда не прописывал «его высокородия достопочтеннейшего господина Андрея Петровича» своим «благодетелем», хотя и прописывал неуклонно в каждом письме свой всенижайший поклон, испрашивая у него милости, а на самого его благословение божие. Ответы Макару Ивановичу посылались моею матерью вскорости и всегда писались в таком же точно роде. Версилов, разумеется, в переписке не участвовал. Писал Макар Иванович из разных концов России, из городов и монастырей, в которых подолгу иногда проживал. Он стал так называемым странником. Никогда ни о чем не просил; зато раз года в три непременно являлся домой на побывку и останавливался прямо у матери, которая, всегда так приходилось, имела свою квартиру, особую от квартиры Версилова. Об этом мне придется после сказать, но здесь лишь замечу, что Макар Иванович не разваливался в гостиной на диванах, а скромно помещался где-нибудь за перегородкой. Проживал недолго, дней пять, неделю.

Я забыл сказать, что он ужасно любил и уважал свою фамилию «Долгорукий». Разумеется, это – смешная глупость. Всего глупее то, что ему нравилась его фамилия именно потому, что есть князя Долгорукие. Странное понятие, совершенно вверх ногами!

Если я и сказал, что все семейство всегда было в сборе, то кроме меня, разумеется. Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях. Но тут не было никакого особенного намерения, а просто как-то так почему-то вышло. Родив меня, мать была еще молода и хороша, а стало быть, нужна ему, а крикун ребенок, разумеется, был всему помехою, особенно в путешествиях. Вот почему и случилось, что до двадцатого года я почти не видал моей матери, кроме двух-трех случаев мельком. Произошло не от чувств матери, а от высокомерия к людям Версилова.

VII

Теперь совсем о другом.

Месяц назад, то есть за месяц до девятнадцатого сентября, я, в Москве, порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно. Я так и прописываю это слово: «уйти в свою идею», потому что это выражение может обозначить почти всю мою главную мысль – то самое, для чего я живу на свете. Что это за «своя идея», об этом слишком много будет потом. В уединении мечтательной и многолетней моей московской жизни она создалась у меня еще с шестого класса гимназии и с тех пор, может быть, ни на миг не оставляла меня. Она поглотила всю мою жизнь. Я и до нее жил в мечтах, жил с самого детства в мечтательном царстве известного оттенка; но с появлением этой главной и все поглотившей во мне идеи мечты мои скрепились и разом отлились в известную форму: из глупых сделались разумными. Гимназия мечтам не мешала; не помешала и идее. Прибавлю, однако, что я кончил гимназический курс в последнем году плохо, тогда как до седьмого класса всегда был из первых, а случилось это вследствие той же идеи, вследствие вывода, может быть ложного, который я из нее вывел. Таким образом, не гимназия помешала идее, а идея помешала гимназии, помешала и университету. Кончив гимназию, я тотчас же вознамерился не только порвать со всеми радикально, но если надо, то со всем даже миром, несмотря на то что мне был тогда всего только двадцатый год. Я написал кому следует, через кого следует в Петербург, чтобы меня окончательно оставили в покое, денег на содержание мое больше не присылали и, если возможно, чтоб забыли меня вовсе (то есть, разумеется, в случае, если меня сколько-нибудь помнили), и, наконец, что в университет я «ни за что» не поступлю. Дилемма стояла передо мной неотразимая: или университет и дальнейшее образование, или отдалить немедленное приложение «идеи» к делу еще на четыре года; я бестрепетно стал за идею, ибо был математически убежден. Версилов, отец мой, которого я видел всего только раз в моей жизни, на миг, когда мне было всего десять лет (и который в один этот миг успел поразить меня), Версилов, в ответ на мое письмо, не

ему, впрочем, посланное, сам вызвал меня в Петербург собственноручным письмом, обещая частное место. Этот вызов человека, сухого и гордого, ко мне высокомерного и небрежного и который до сих пор, родив меня и бросив в люди, не только не знал меня вовсе, но даже в этом никогда не раскаивался (кто знает, может быть, о самом существовании моем имел понятие смутное и неточное, так как оказалось потом, что и деньги не он платил за содержание мое в Москве, а другие), вызов этого человека, говорю я, так вдруг обо мне вспомнившего и удостоившего собственноручным письмом, – этот вызов, прельстив меня, решил мою участь. Странно, мне, между прочим, понравилось в его письмеце (одна маленькая страничка малого формата), что он ни слова не упомянул об университете, не просил меня переменить решение, не укорял, что не хочу учиться, – словом, не выставлял никаких родительских финтифлюшек в этом роде, как это бывает по обыкновению, а между тем это-то и было худо с его стороны в том смысле, что еще пуще обозначало его ко мне небрежность. Я решился ехать еще и потому, что это вовсе не мешало моей главной мечте. «Посмотрю, что будет, – рассуждал я, – во всяком случае я связываюсь с ними только на время, может быть, на самое малое. Но чуть увижу, что этот шаг, хотя бы и условный и малый, все-таки отдалит меня от *главного*, то тотчас же с ними порву, брошу все и уйду в свою скорлупу». Именно в скорлупу! «Спрячусь в нее, как черепаха»; сравнение это очень мне нравилось. «Я буду не один, – продолжал я раскидывать, ходя как угорелый все эти последние дни в Москве, – никогда теперь уже не буду один, как в столько ужасных лет до сих пор: со мной будет моя идея, которой я никогда не изменю, даже и в том случае, если б они мне все там понравились, и дали мне счастье, и я прожил бы с ними хоть десять лет!» Вот это-то впечатление, замечу вперед, вот именно эта-то двойственность планов и целей моих, определившаяся еще в Москве и которая не оставляла меня ни на один миг в Петербурге (ибо не знаю, был ли такой день в Петербурге, который бы я не ставил впереди моим окончательным сроком, чтобы порвать с ними и удалиться), – эта двойственность, говорю я, и была, кажется, одною из главнейших причин многих моих неосторожностей, надеванных в году, многих мерзостей, многих даже низостей и, уж разумеется, глупостей.

Конечно, у меня вдруг являлся отец, которого никогда прежде не было. Эта мысль пьянила меня и при сборах в Москве, и в вагоне. Что отец – это бы еще ничего, и нежностей я не любил, но человек этот меня знать не хотел и унизил, тогда как я мечтал о нем все эти годы взасос (если можно так о мечте выразиться). Каждая мечта моя, с самого детства, отзывалась им: витала около него, сводилась на него в окончательном результате. Я не знаю, ненавидел или любил я его, но он наполнял собою все мое будущее, все расчеты мои на жизнь, – и это случилось само собою, это шло вместе с ростом.

Повлияло на мой отъезд из Москвы и еще одно могущественное обстоятельство, один соблазн, от которого уже и тогда, еще за три месяца пред выездом (стало быть, когда и помину не было о Петербурге), у меня уже поднималось и билось сердце! Меня тянуло в этот неизвестный океан еще и потому, что я прямо мог войти в него властелином и господином даже чужих судеб, да еще чьих! Но великодушные, а не деспотические чувства кипели во мне – предуведомляю заранее, чтоб не вышло ошибки из слов моих. К тому же Версиков мог думать (если только удостоивал обо мне думать), что вот едет маленький мальчик, отставной гимназист, подросток, и удивляется на весь свет. А я меж тем уже знал всю его подноготную и имел на себе важнейший документ, за который (теперь уж я знаю это наверно) он отдал бы несколько лет своей жизни, если б я открыл ему тогда тайну. Впрочем, я замечаю, что наставил загадок. Без фактов чувств не опишешь. К тому же обо всем этом слишком довольно будет на своем месте, затем и перо взял. А так писать – похоже на бред или облако.

VIII

Наконец, чтобы перейти к девятнадцатому числу окончательно, скажу пока вкратце и, так сказать, мимоходом, что я застал их всех, то есть Версилова, мать и сестру мою (последнюю я увидел в первый раз в жизни), при тяжелых обстоятельствах, почти в нищете или накануне нищеты. Об этом я узнал уж и в Москве, но все же не предполагал того, что увидел. Я с самого детства привык вообразить себе этого человека, этого «будущего отца моего» почти в каком-то сиянии и не мог представить себе иначе, как на первом месте везде. Никогда Версильов не жил с моею матерью на одной квартире, а всегда нанимал ей особенную: конечно, делал это из подлейших ихних «приличий». Но тут все жили вместе, в одном деревянном флигеле, в переулке, в Семеновском полку. Все вещи уже были заложены, так что я даже отдал матери, таинственно от Версильова, мои таинственные шестьдесят рублей. Именно *таинственные* потому, что были накоплены из карманных денег моих, которых отпускалось мне по пяти рублей в месяц, в продолжение двух лет; копление же началось с первого дня моей «идеи», а потому Версильов не должен был знать об этих деньгах ни слова. Этого я трепетал.

Эта помощь оказалась лишь каплей. Мать работала, сестра тоже брала шитье; Версильов жил праздно, капризился и продолжал жить со множеством прежних, довольно дорогих привычек. Он брюзжал ужасно, особенно за обедом, и все приемы его были совершенно деспотические. Но мать, сестра, Татьяна Павловна и все семейство покойного Андроникова (одного месяца три перед тем умершего начальника отделения и с тем вместе заправлявшего делами Версильова), состоявшее из бесчисленных женщин, благоговели перед ним, как перед фетишем. Я не мог представить себе этого. Замечу, что девять лет назад он был несравненно изящнее. Я сказал уже, что он остался в мечтах моих в каком-то сиянии, а потому я не мог вообразить, как можно было так постареть и истереться всего только в девять каких-нибудь лет с тех пор: мне тотчас же стало грустно, жалко, стыдно. Взгляд на него был одним из тяжелейших моих первых впечатлений по приезде. Впрочем, он был еще вовсе не старик, ему было всего сорок пять лет; вглядываясь же дальше, я нашел в красоте его даже что-то более поражающее, чем то, что уцелело в моем воспоминании. Меньше тогдашнего блеску, менее внешности, даже изящного, но жизнь как бы отгиснула на этом лице нечто гораздо более любопытное прежнего.

А между тем нищета была лишь десятой или двадцатой долей в его неудачах, и я слишком знал об этом. Кроме нищеты, стояло нечто безмерно серьезнейшее, – не говоря уже о том, что все еще была надежда выиграть процесс о наследстве, затеянный уже год у Версильова с князьями Сокольскими, и Версильов мог получить в самом ближайшем будущем имение, ценностью в семьдесят, а может и несколько более тысяч. Я сказал уже выше, что этот Версильов прожил в свою жизнь три наследства, и вот его опять выручало наследство! Дело решалось в суде в самый ближайший срок. Я с тем и приехал. Правда, под надежду денег никто не давал, занять негде было, и пока терпели.

Но Версильов и не ходил ни к кому, хотя иногда уходил на весь день. Уже с лишком год назад, как он *выгнан* из общества. История эта, несмотря на все старания мои, оставалась для меня в главнейшем невыясненною, несмотря на целый месяц жизни моей в Петербурге. Виновен или не виновен Версильов – вот что для меня было важно, вот для чего я приехал! Отвернулись от него все, между прочим и все влиятельные знатные люди, с которыми он особенно умел во всю жизнь поддерживать связи, вследствие слухов об одном чрезвычайно низком и – что хуже всего в глазах «света» – скандальном поступке, будто бы совершенном им с лишком год назад в Германии, и даже о пощечине, полученной тогда же слишком гласно, именно от одного из князей Сокольских, и на которую он не ответил вызовом. Даже дети его (законные), сын и дочь, от него отвернулись и жили отдельно. Правда, и сын и дочь витали в самом высшем кругу, чрез Фанариотовых и старого князя Сокольского (бывшего друга Версильова). Впрочем,

приглядываясь к нему во весь этот месяц, я видел высокомерного человека, которого не общество исключило из своего круга, а который скорее сам прогнал общество от себя, – до того он смотрел независимо. Но имел ли он право смотреть таким образом – вот что меня волновало! Я непременно должен узнать всю правду в самый ближайший срок, ибо приехал судить этого человека. Свой силы я еще таил от него, но мне надо было или признать его, или оттолкнуть от себя вовсе. А последнее мне было бы слишком тяжело, и я мучился. Сделаю наконец полное признание: этот человек был мне дорог!

А пока я жил с ними на одной квартире, работал и едва удерживался от грубостей. Даже и не удерживался. Прожив уже месяц, я с каждым днем убеждался, что за окончательными разъяснениями ни за что не мог обратиться к нему. Гордый человек прямо стал передо мной загадкой, оскорбившей меня до глубины. Он был со мною даже мил и шутил, но я скорее хотел ссоры, чем таких шуток. Все разговоры мои с ним носили всегда какую-то в себе двусмысленность, то есть попросту какую-то странную насмешку с его стороны. Он с самого начала встретил меня из Москвы несерьезно. Я никак не мог понять, для чего он это сделал. Правда, он достиг того, что остался передо мною непроницаем; но сам я не унился бы до просьб о серьезности со мной с его стороны. К тому же у него были какие-то удивительные и неотразимые приемы, с которыми я не знал что делать. Короче, со мной он обращался как с самым зеленым подростком, чего я почти не мог перенести, хотя и знал, что так будет. Вследствие того я сам перестал говорить серьезно и ждал; даже почти совсем перестал говорить. Ждал я одного лица, с приездом которого в Петербург мог окончательно узнать истину; в этом была моя последняя надежда. Во всяком случае приготовился порвать окончательно и уже принял все меры. Мать мне жаль было, но... «или он, или я» – вот что я хотел предложить ей и сестре моей. Даже день у меня был назначен; а пока я ходил на службу.

Глава вторая

I

В это девятнадцатое число я должен был тоже получить мое первое жалованье за первый месяц моей петербургской службы на моем «частном» месте. Об месте этом они меня и не спрашивали, а просто отдали меня на него, кажется, в самый первый день, как я приехал. Это было очень грубо, и я почти обязан был протестовать. Это место оказалось в доме у старого князя Сокольского. Но протестовать тогда же – значило бы порвать с ними сразу, что хоть вовсе не пугало меня, но вредило моим существенным целям, а потому я принял место покамест молча, молчаньем защитив мое достоинство. Поясню с самого начала, что этот князь Сокольский, богач и тайный советник, нисколько не состоял в родстве с теми московскими князьями Сокольскими (ничтожными бедняками уже несколько поколений сряду), с которыми Версиков вел свою тяжбу. Они были только однофамильцы. Тем не менее старый князь очень ими интересовался и особенно любил одного из этих князей, так сказать их старшего в роде – одного молодого офицера. Версиков еще недавно имел огромное влияние на дела этого старика и был его другом, странным другом, потому что этот бедный князь, как я заметил, ужасно боялся его, не только в то время, как я поступил, но, кажется, и всегда во всю дружбу. Впрочем, они уже давно не видались; бесчестный поступок, в котором обвиняли Версикова, касался именно семейства князя; но подвернулась Татьяна Павловна, и чрез ее-то посредство я и помещен был к старику, который желал «молодого человека» к себе в кабинет. При этом оказалось, что ему ужасно желалось тоже сделать угодное Версикову, так сказать первый шаг к нему, а Версиков *позволил*. Распорядился же старый князь в отсутствие своей дочери, вдовы-генеральши, которая наверно бы ему не позволила этого шагу. Об этом после, но замечу, что эта-то странность отношений к Версикову и поразила меня в его пользу. Представлялось соображению, что если глава оскорбленной семьи все еще продолжает питать уважение к Версикову, то, стало быть, нелепы или по крайней мере двусмысленны и распушенные толки о подлости Версикова. Отчасти это-то обстоятельство и заставило меня не протестовать при поступлении: поступая, я именно надеялся все это проверить.

Эта Татьяна Павловна играла странную роль в то время, как я застал ее в Петербурге. Я почти забыл о ней вовсе и уж никак не ожидал, что она с таким значением. Она прежде встречалась мне раза три-четыре в моей московской жизни и являлась бог знает откуда, по чьему-то поручению, всякий раз когда надо было меня где-нибудь устроить, – при поступлении ли в пансиончик Тушара или потом, через два с половиной года, при переводе меня в гимназию и помещении в квартире незабвенного Николая Семеновича. Появившись, она проводила со мною весь тот день, ревизовала мое белье, платье, разъезжала со мной на Кузнецкий и в город, покупала мне необходимые вещи, устраивала, одним словом, все мое приданое до последнего сундучка и перочинного ножика; при этом все время шипела на меня, бранила меня, корила меня, экзаменовала меня, представляла мне в пример других фантастических каких-то мальчиков, ее знакомых и родственников, которые будто бы все были лучше меня, и, право, даже щипала меня, а толкала положительно, даже несколько раз, и больно. Устроив меня и водворив на месте, она исчезала на несколько лет бесследно. Вот она-то, тотчас по моем приезде, и появилась опять водворять меня. Это была сухенькая, маленькая фигурка, с птичьим востреньким носиком и птичьими острыми глазками. Версикову она служила, как раба, и преклонялась перед ним, как перед папой, но по убеждению. Но скоро я с удивлением заметил, что ее решительно все и везде уважали, и главное – решительно везде и все знали. Старый князь Сокольский относился к ней с необыкновенным почтением; в его семействе тоже; эти гордые

дети Версилова тоже; у Фанариотовых тоже, – а между тем она жила шитьем, промыванием каких-то кружев, брала из магазина работу. Мы с нею с первого слова поссорились, потому что она тотчас же вздумала, как прежде, шесть лет тому, шипеть на меня; с тех пор продолжали ссориться каждый день; но это не мешало нам иногда разговаривать, и, признаюсь, к концу месяца она мне начала нравиться; я думаю, за независимость характера. Впрочем, я ее об этом не уведомлял.

Я сейчас же понял, что меня определили на место к этому больному старику затем только, чтоб его «тешить», и что в этом и вся служба. Естественно, это меня унизило, и я тотчас же принял было меры; но вскоре этот старый чудак произвел во мне какое-то неожиданное впечатление, вроде как бы жалости, и к концу месяца я как-то странно к нему привязался, по крайней мере оставил намерение грубить. Ему, впрочем, было не более шестидесяти. Тут вышла целая история. Года полтора назад с ним вдруг случился припадок; он куда-то поехал и в дороге помешался, так что произошло нечто вроде скандала, о котором в Петербурге поговорили. Как следует в таких случаях, его мигом увезли за границу, но месяцев через пять он вдруг опять появился, и совершенно здоровый, хотя и оставил службу. Версиров уверял серьезно (и заметно горячо), что помешательства с ним вовсе не было, а был лишь какой-то нервный припадок. Эту горячность Версирова я немедленно отметил. Впрочем, замечу, что и сам я почти разделял его мнение. Старик казался только разве уж чересчур иногда легкомысленным, как-то не по летам, чего прежде совсем, говорят, не было. Говорили, что прежде он давал какие-то где-то советы и однажды как-то слишком уж отличился в одном возложенном на него поручении. Зная его целый месяц, я никак бы не предположил его особенной силы быть советником. Замечали за ним (хоть я и не заметил), что после припадка в нем развилась какая-то особенная склонность поскорее жениться и что будто бы он уже не раз приступал к этой идее в эти полтора года. Об этом будто бы знали в свете и, кому следует, интересовались. Но так как это поползновение слишком не соответствовало интересам некоторых лиц, окружавших князя, то старика сторожили со всех сторон. Свое семейство у него было малое; он был вдовцом уже двадцать лет и имел лишь единственную дочь, ту вдову-генеральшу, которую теперь ждали из Москвы ежедневно, молодую особу, характера которой он несомненно боялся. Но у него была бездна разных отдаленных родственников, преимущественно по покойной его жене, которые все были чуть не нищие; кроме того, множество разных его питомцев и им благодетельствованных питомиц, которые все ожидали частички в его завещании, а потому все и помогали генеральше в надзоре за стариком. У него была, сверх того, одна странность, с самого молодого, не знаю только, смешная или нет: выдавать замуж бедных девиц. Он их выдавал уже лет двадцать пять сряду – или отдаленных родственниц, или падчериц каких-нибудь двоюродных братьев своей жены, или крестниц, даже выдал дочку своего швейцара. Он сначала брал их к себе в дом еще маленькими девочками, растил их с гувернантками и француженками, потом обучал в лучших учебных заведениях и под конец выдавал с приданым. Все это около него теснилось постоянно. Питомицы, естественно, в замужестве нарождали еще девочек, все народившиеся девочки тоже норовили в питомицы, везде он должен был крестить, все это являлось поздравлять с именинами, и все это ему было чрезвычайно приятно.

Поступив к нему, я тотчас заметил, что в уме старика гнезилось одно тяжелое убеждение – и этого никак нельзя было не заметить, – что все-де как-то странно стали смотреть на него в свете, что все будто стали относиться к нему не так, как прежде, к здоровому; это впечатление не покидало его даже в самых веселых светских собраниях. Старик стал мнителен, стал замечать что-то у всех по глазам. Мысль, что его все еще подозревают помешанным, видимо, его мучила; даже ко мне он иногда приглядывался с недоверчивостью. И если бы он узнал, что кто-нибудь распространяет или утверждает о нем этот слух, то, кажется, этот незлобивейший человек стал бы ему вечным врагом. Вот это-то обстоятельство я и прошу заметить. Прибавлю, что это и решило с первого дня, что я не грубил ему; даже рад был, если приводи-

лось его иногда развеселить или развлечь; не думаю, чтоб признание это могло положить тень на мое достоинство.

Большая часть его денег находилась в обороте. Он, уже после болезни, вошел участником в одну большую акционерную компанию, впрочем очень солидную. И хоть дела вели другие, но он тоже очень интересовался, посещал собрания акционеров, выбран был в члены-учредители, заседал в советах, говорил длинные речи, опровергал, шумел, и, очевидно, с удовольствием. Говорить речи ему очень понравилось: по крайней мере все могли видеть его ум. И вообще он ужасно как полюбил даже в самой интимной частной жизни вставлять в свой разговор особенно глубокомысленные вещи или бонмо¹; я это слишком понимаю. В доме, внизу, было устроено вроде домашней конторы, и один чиновник вел дела, счета и книги, а вместе с тем и управлял домом. Этого чиновника, служившего, кроме того, на казенном месте, и одного было бы совершенно достаточно; но, по желанию самого князя, прибавили и меня, будто бы на помощь чиновнику; но я тотчас же был переведен в кабинет и часто, даже для виду, не имел пред собою занятий, ни бумаг, ни книг.

Я пишу теперь, как давно отрезвившийся человек и во многом уже почти как посторонний; но как изобразить мне тогдашнюю грусть мою (которую живо сейчас припомнил), засевавшую в сердце, а главное – мое тогдашнее волнение, доходившее до такого смутного и горячего состояния, что я даже не спал по ночам – от нетерпения моего, от загадок, которые я сам себе наставил.

II

Спрашивать денег – прегадкая история, даже жалованье, если чувствуешь где-то в складках совести, что их не совсем заслужил. Между тем накануне мать, шепчась с сестрой, тихонько от Версилова («чтобы не огорчить Андрея Петровича»), намеревалась снести в заклад из киота образ, почему-то слишком ей дорогой. Служил я на пятидесяти рублях в месяц, но совсем не знал, как я буду их получать; определяя меня сюда, мне ничего не сказали. Дня три назад, встретившись внизу с чиновником, я осведомился у него: у кого здесь спрашивают жалованье? Тот посмотрел с улыбкой удивившегося человека (он меня не любил):

– А вы получаете жалованье?

Я думал, что вслед за моим ответом он прибавит:

– За что же это-с?

Но он только сухо ответил, что «ничего не знает», и уткнулся в свою разлинованную книгу, в которую с каких-то бумажек вставлял какие-то счета.

Ему, впрочем, неизвестно было, что я кое-что и делал. Две недели назад я ровно четыре дня просидел над работой, которую он же мне и передал: переписать с черновой, а вышло почти пересочинить. Это была целая орава «мыслей» князя, которые он готовился подать в комитет акционеров. Надо было все это скомпоновать в целое и подделать слог. Мы целый день потом просидели над этой бумагой с князем, и он очень горячо со мной спорил, однако же остался доволен; не знаю только, подал ли бумагу или нет. О двух-трех письмах, тоже деловых, которые я написал по его просьбе, я и не упоминаю.

Просить жалованья мне и потому было досадно, что я уже положил отказаться от должности, предчувствуя, что принужден буду удалиться и отсюда, по неминуемым обстоятельствам. Проснувшись в то утро и одеваясь у себя наверху в каморке, я почувствовал, что у меня забилося сердце, и хоть я плевался, но, входя в дом князя, я снова почувствовал то же волнение: в это утро должна была прибыть сюда та особа, женщина, от прибытия которой я ждал разъяснения всего, что меня мучило! Это именно была дочь князя, та генеральша Ахмакова, молодая

¹ Бонмо (от *фр.* – *bon mot*) – острое словцо.

вдова, о которой я уже говорил и которая была в жестокой вражде с Версиловым. Наконец я написал это имя! Ее я, конечно, никогда не видал, да и представить не мог, как буду с ней говорить, и буду ли; но мне представлялось (может быть, и на достаточных основаниях), что с ее приездом рассеется и мрак, окружавший в моих глазах Версилова. Твердым я оставаться не мог: было ужасно досадно, что с первого же шагу я так малодушен и неловок; было ужасно любопытно, а главное, противно, – целых три впечатления. Я помню весь тот день наизусть!

О вероятном прибытии дочери мой князь еще не знал ничего и предполагал ее возвращение из Москвы разве через неделю. Я же узнал накануне совершенно случайно: проговорилась при мне моей матери Татьяна Павловна, получившая от генеральши письмо. Они хоть и шептались и говорили отдаленными выражениями, но я догадался. Разумеется, не подслушивал: просто не мог не слушать, когда увидел, что вдруг, при известии о приезде этой женщины, так взволновалась мать. Версилова дома не было.

Старику я не хотел передавать, потому что не мог не заметить во весь этот срок, как он трусит ее приезда. Он даже, дня три тому назад, проговорился, хотя робко и отдаленно, что боится с ее приездом за меня, то есть что за меня ему будет таска. Я, однако, должен прибавить, что в отношениях семейных он все-таки сохранял свою независимость и главенство, особенно в распоряжении деньгами. Я сперва заключил о нем, что он – совсем баба; но потом должен был перезаключить в том смысле, что если и баба, то все-таки оставалось в нем какое-то иногда упрямство, если не настоящее мужество. Находили минуты, в которые с характером его – по видимому, трусливым и поддающимся – почти ничего нельзя было сделать. Мне это Версиров объяснил потом подробнее. Упоминаю теперь с любопытством, что мы с ним почти никогда и не говорили о генеральше, то есть как бы избегали говорить: избегал особенно я, а он в свою очередь избегал говорить о Версирове, и я прямо догадался, что он не будет мне отвечать, если я задам который-нибудь из щекотливых вопросов, меня так интересовавших.

Если же захотят узнать, об чем мы весь этот месяц с ним проговорили, то отвечу, что, в сущности, обо всем на свете, но все о странных каких-то вещах. Мне очень нравилось чрезвычайное простодушие, с которым он ко мне относился. Иногда я с чрезвычайным недоумением всматривался в этого человека и задавал себе вопрос: «Где же это он прежде заседал? Да его как раз бы в нашу гимназию, да еще в четвертый класс, – и премилый вышел бы товарищ». Удивлялся я тоже не раз и его лицу: оно было на вид чрезвычайно серьезное (и почти красивое), сухое; густые седые вьющиеся волосы, открытые глаза; да и весь он был сухощав, хорошего роста; но лицо его имело какое-то неприятное, почти неприличное свойство вдруг переменяться из необыкновенно серьезного на слишком уж игривое, так что в первый раз видевший никак бы не ожидал этого. Я говорил об этом Версирову, который с любопытством меня выслушал; кажется, он не ожидал, что я в состоянии делать такие замечания, но заметил вскользь, что это явилось у князя уже после болезни и разве в самое только последнее время.

Преимущественно мы говорили о двух отвлеченных предметах – о боге и бытии его, то есть существует он или нет, и об женщинах. Князь был очень религиозен и чувствителен. В кабинете его висел огромный киот с лампадкой. Но вдруг на него находило – и он вдруг начинал сомневаться в бытии божием и говорил удивительные вещи, явно вызывая меня на ответ. К идее этой я был довольно равнодушен, говоря вообще, но все-таки мы очень завлекались оба и всегда искренно. Вообще все эти разговоры, даже и теперь, вспоминаю с приятностью. Но всего милее ему было поболтать о женщинах, и так как я, по нелюбви моей к разговорам на эту тему, не мог быть хорошим собеседником, то он иногда даже огорчался.

Он как раз заговорил в этом роде, только что я пришел в это утро. Я застал его в настроении игривом, а вчера оставил отчего-то в чрезвычайной грусти. Между тем мне надо было непременно окончить сегодня же об жалованье – до приезда некоторых лиц. Я рассчитывал, что нас сегодня непременно *прервут* (недаром же билось сердце), – и тогда, может, я и не решусь заговорить об деньгах. Но так как о деньгах не заговаривалось, то я, естественно, рассердился

на мою глупость и, как теперь помню, в досаде на какой-то слишком уж веселый вопрос его, изложил ему мои взгляды на женщин залпом и с чрезвычайным азартом. А из того вышло, что он еще больше увлекся на мою же шею.

III

– ... Я не люблю женщин за то, что они грубы, за то, что они неловки, за то, что они несамостоятельны, и за то, что носят неприличный костюм! – бессвязно заключил я мою длинную тираду.

– Голубчик, пощади! – вскричал он, ужасно развеселившись, что еще пуще обозлило меня.

Я уступчив и мелочен только в мелочах, но в главном не уступлю никогда. В мелочах же, в каких-нибудь светских приемах, со мной бог знает что можно сделать, и я всегда проклиная в себе эту черту. Из какого-то смердящего добродушия я иногда бывал готов поддакивать даже какому-нибудь светскому фату, единственно оболыщенный его вежливостью, или ввязывался в спор с дураком, что всего непростительнее. Все это от невыдержки и оттого, что вырос в углу. Уходишь злой и клянешься, что завтра это уже не повторится, но завтра опять то же самое. Вот почему меня принимали иногда чуть не за шестнадцатилетнего. Но вместо приобретения выдержки я и теперь предпочитаю закупориться еще больше в угол, хотя бы в самом мизантропическом виде: «Пусть я неловок, но – прощайте!» Я это говорю серьезно и навсегда. Впрочем, вовсе не по поводу князя это пишу, и даже не по поводу тогдашнего разговора.

– Я вовсе не для веселости вашей говорю, – почти закричал я на него, – я просто высказываю убеждение.

– Но как же это женщины грубы и одеты неприлично? Это ново.

– Грубы. Подите в театр, подите на гулянье. Всякий из мужчин знает правую сторону, сойдутся и разойдутся, он вправо и я вправо. Женщина, то есть дама, – я об дамах говорю – так и прет на вас прямо, даже не замечая вас, точно вы уж так непременно и обязаны отскочить и уступить дорогу. Я готов уступить, как созданию слабейшему, но почему тут право, почему она так уверена, что я это обязан, – вот что оскорбительно! Я всегда плевался встречаясь. И после того кричат, что они принижены, и требуют равенства; какое тут равенство, когда она меня топчет или напихает мне в рот песку!

– Песку!

– Да, потому что они неприлично одеты; это только развратный не заметит. В судах запирают же двери, когда дело идет о неприличностях; зачем же позволяют на улицах, где еще больше людей? Они сзади себе открыто фру-фру² подкладывают, чтоб показать, что бельфам³, открыто! Я ведь не могу не заметить, и юноша тоже заметит, и ребенок, начинающий мальчик, тоже заметит; это подло. Пусть любят старые развратники и бегут высуня язык, но есть чистая молодежь, которую надо беречь. Остается плеваться. Идет по бульвару, а сзади пустит шлейф в полтора аршина и пыль метет; каково идти сзади: или беги обгоняй, или отскакивай в сторону, не то и в нос и в рот она вам пять фунтов песку напихает. К тому же это шелк, она его треплет по камню три версты, из одной только моды, а муж пятьсот рублей в сенате в год получает: вот где взятки-то сидят! Я всегда плевался, вслух плевался и бранился.

Хоть я и выписываю этот разговор несколько в юморе и с тогдашнею характерностью, но мысли эти и теперь мои.

– И сходило с рук? – полюбопытствовал князь.

² Турнюр.

³ Красавица (от фр. *belle femme*).

– Я плюну и отойду. Разумеется, почувствует, а виду не покажет, прет величественно, не повернув головы. А побранился я совершенно серьезно всего один раз с какими-то двумя, обе с хвостами, на бульваре, – разумеется, не скверными словами, а только вслух заметил, что хвост оскорбителен.

– Так и выразился?

– Конечно. Во-первых, она попирает условия общества, а во-вторых, пылит; а бульвар для всех: я иду, другой идет, третий, Федор, Иван, все равно. Вот это я и высказал. И вообще я не люблю женскую походку, если сзади смотреть; это тоже высказал, по намеком.

– Друг мой, но ведь ты мог попасть в серьезную историю: они могли стащить тебя к мировому?

– Ничего не могли. Не на что было жаловаться: идет человек подле и разговаривает сам с собой. Всякий человек имеет право выражать свое убеждение на воздух. Я говорил отвлеченно, к ним не обращался. Они привязались сами: они стали браниться, они гораздо сквернее бранились, чем я: и молокосос, и без кушанья оставить надо, и нигилист, и городовому отдадут, и что я потому привязался, что они одни и слабые женщины, а был бы с ними мужчина, так я бы сейчас хвост поджал. Я хладнокровно объявил, чтобы они перестали ко мне приставать, а я перейду на другую сторону. А чтобы доказать им, что я не боюсь их мужчин и готов принять вызов, то буду идти за ними в двадцати шагах до самого их дома, затем стану перед домом и буду ждать их мужчин. Так и сделал.

– Неужто?

– Конечно, глупость, но я был разгорячен. Они протащили меня версты три с лишком, по жаре, до институтов, вошли в деревянный одноэтажный дом, – я должен сознаться, весьма приличный, – а в окна видно было в доме много цветов, две канарейки, три шавки и эстампы в рамках. Я простоял среди улицы перед домом с полчаса. Они выглянули раза три украдкой, а потом опустили все шторы. Наконец из калитки вышел какой-то чиновник, пожилой; судя по виду, спал, и его нарочно разбудили; не то что в халате, а так, в чем-то очень домашнем; стал у калитки, заложил руки назад и начал смотреть на меня, я – на него. Потом отведет глаза, потом опять посмотрит и вдруг стал мне улыбаться. Я повернулся и ушел.

– Друг мой, это что-то шиллеровское! Я всегда удивлялся: ты краснощекий, с лица твоего прыщит здоровьем и – такое, можно сказать, отвращение от женщин! Как можно, чтобы женщина не производила в твои лета известного впечатления? Мне, *mon cher*⁴, еще одиннадцатилетнему, гувернер замечал, что я слишком засматриваюсь в Летнем саду на статуи.

– Вам ужасно хочется, чтоб я сходил к какой-нибудь здешней Жозефине и пришел, вам донести. Незачем; я и сам еще тринадцати лет видел женскую наготу, всю; с тех пор и почувствовал омерзение.

– Seriously? Но, *cher enfant*⁵, от красивой свежей женщины яблоком пахнет, какое ж тут омерзение!

– У меня был в прежнем пансионике, у Тушара, еще до гимназии, один товарищ, Ламберт. Он все меня бил, потому что был больше чем тремя годами старше, а я ему служил и сапоги снимал. Когда он ездил на конфирмацию, то к нему приехал аббат Риго поздравить с первым причастием, и оба кинулись в слезах друг другу на шею, и аббат Риго стал его ужасно прижимать к своей груди, с разными жестами. Я тоже плакал и очень завидовал. Когда у него умер отец, он вышел, и я два года его не видал, а через два года встретил на улице. Он сказал, что ко мне придет. Я уже был в гимназии и жил у Николая Семеновича. Он пришел поутру, показал мне пятьсот рублей и велел с собой ехать. Хоть он и бил меня два года назад, а всегда во мне нуждался, не для одних сапог; он все мне пересказывал. Он сказал, что деньги утащил

⁴ Мой милый (*фр.*).

⁵ Дорогое дитя (*фр.*).

сегодня у матери из шкатулки, подделав ключ, потому что деньги от отца все его, по закону, и что она не смеет не давать, а что вчера к нему приходил аббат Риго увещевать – вошел, стал над ним и стал хныкать, изображать ужас и поднимать руки к небу, «а я вынул нож и сказал, что я его зарежу» (он выговаривал: загхэжу). Мы поехали на Кузнецкий. Дорогой он мне сообщил, что его мать в сношениях с аббатом Риго, и что он это заметил, и что он на все плюет, и что все, что они говорят про причастие, – вздор. Он еще много говорил, а я боялся. На Кузнецком он купил двухствольное ружье, ягдташ, готовых патронов, манежный хлыст и потом еще фунт конфет. Мы поехали за город стрелять и дорогою встретили птицелова с клетками; Ламберт купил у него канарейку. В роще он канарейку выпустил, так как она не может далеко улететь после клетки, и стал стрелять в нее, но не попал. Он в первый раз стрелял в жизни, а ружье давно хотел купить, еще у Тушара, и мы давно уже о ружье мечтали. Он точно захлебывался. Волосы у него были черные ужасно, лицо белое и румяное, как на маске, нос длинный, с горбом, как у французов, зубы белые, глаза черные. Он привязал канарейку ниткой к сучку и из двух стволов, в упор, на вершок расстояния, дал по ней два залпа, и она разлетелась на сто перушков. Потом мы воротились, заехали в гостиницу, взяли номер, стали есть и пить шампанское; пришла дама... Я, помню, был очень поражен тем, как пышно она была одета, в зеленом шелковом платье. Тут я все это и увидел... про что вам говорил... Потом, когда мы стали опять пить, он стал ее дразнить и ругать; она сидела без платья; он отнял платье, и когда она стала браниться и просить платье, чтоб одеться, он начал ее изо всей силы хлестать по голым плечам хлыстом. Я встал, схватил его за волосы, и так ловко, что с одного раза бросил на пол. Он схватил вилку и ткнул меня в ляжку. Тут на крик вбежали люди, а я успел убежать. С тех пор мне мерзко вспомнить о наготы; поверьте, была красавица.

По мере как я говорил, у князя изменялось лицо с игривого на очень грустное.

– Mon pauvre enfant!⁶ Я всегда был убежден, что в твоём детстве было очень много несчастных дней.

– Не беспокойтесь, пожалуйста.

– Но ты был один, ты сам говорил мне, и хоть бы этот Lambert; ты это так очертил: эта канарейка, эта конфирмация со слезами на груди и потом, через какой-нибудь год, он о своей матери с аббатом... О mon cher, этот детский вопрос в наше время просто страшен: покамест эти золотые головки, с кудрями и с невинностью, в первом детстве, порхают перед тобой и смотрят на тебя, с их светлым смехом и светлыми глазками, – то точно ангелы божии или прелестные птички; а потом... а потом случается, что лучше бы они и не вырастали совсем!

– Какой вы, князь, расслабленный! И точно у вас у самих дети. Ведь у вас нет детей и никогда не будет.

– Tiens!⁷ – мгновенно изменилось все лицо его, – как раз Александра Петровна, – третьего дня, хе-хе! – Александра Петровна Синицкая, – ты, кажется, ее должен был здесь встретить недели три тому, – представь, она третьего дня вдруг мне, на мое веселое замечание, что если я теперь женюсь, то по крайней мере могу быть спокоен, что не будет детей, – вдруг она мне и даже с этакою злостью: «Напротив, у вас-то и будут, у таких-то, как вы, и бывают непременно, с первого даже года пойдут, увидите». Хе-хе! И все почему-то вообразили, что я вдруг женюсь; но хоть и злобно сказано, а согласись – остроумно.

– Остроумно, да обидно.

– Ну, cher enfant, не от всякого можно обидеться. Я ценю больше всего в людях остроумие, которое, видимо, исчезает, а что там Александра Петровна скажет – разве может считаться?

⁶ Мое бедное дитя (*фр.*).

⁷ Кстати! (*фр.*).

– Как, как вы сказали? – привязался я, – не от всякого можно... именно так! Не всякий стоит, чтобы на него обращать внимание, – превосходное правило! Именно я в нем нуждаюсь. Я это запишу. Вы, князь, говорите иногда премилые вещи.

Он так весь и просиял.

– N'est-ce pas? Cher enfant⁸, истинное остроумие исчезает, чем дальше, тем пуще. Eh, mais... C'est moi qui sonnaît les femmes!⁹ Поверь, жизнь всякой женщины, что бы она там ни проповедовала, это – вечное искание, кому бы подчиниться... так сказать, жажда подчиниться. И заметь себе – без единого исключения.

– Совершенно верно, великолепно! – вскричал я в восхищении. В другое время мы бы тотчас же пустились в философские размышления на эту тему, на целый час, но вдруг меня как будто что-то укусило, и я весь покраснел. Мне представилось, что я, похвалами его бонмо, подлещаюсь к нему перед деньгами и что он непременно это подумает, когда я начну просить. Я нарочно упоминаю теперь об этом.

– Князь, я вас покорнейше прошу выдать мне сейчас же должны мне вами пятьдесят рублей за этот месяц, – выпалил я залпом и раздражительно до грубости.

Помню (так как я помню все это утро до мелочи), что между нами произошла тогда преградкая, по своей реальной правде, сцена. Он меня сперва не понял, долго смотрел и не понимал, про какие это деньги я говорю. Естественно, что он и не воображал, что я получаю жалованье, – да и за что? Правда, он стал уверять потом, что забыл, и, когда догадался, мигом стал вынимать пятьдесят рублей, но заторопился и даже покраснелся. Видя, в чем дело, я встал и резко заявил, что не могу теперь принять деньги, что мне сообщили о жалованье, очевидно, ошибочно или обманом, чтоб я не отказался от места, и что я слишком теперь понимаю, что мне не за что получать, потому что никакой службы не было. Князь испугался и стал уверять, что я ужасно много служил, что я буду еще больше служить и что пятьдесят рублей так ничтожно, что он мне, напротив, еще прибавит, потому что он обязан, и что он сам рядился с Татьяной Павловной, но «непростительно все позабыл». Я вспыхнул и окончательно объявил, что мне низко получать жалованье за скандальные рассказы о том, как я провожал два хвоста к институтам, что я не потешать его нанялся, а заниматься делом, а когда дела нет, то надо покончить и т. д., и т. д. Я и представить не мог, чтобы можно было так испугаться, как он, после этих слов моих. Разумеется, покончили тем, что я перестал возражать, а он всучил-таки мне пятьдесят рублей: до сих пор вспоминаю с краской в лице, что их принял! На свете всегда подлостью оканчивается, и, что хуже всего, он тогда сумел-таки почти доказать мне, что я заслужил неоспоримо, а я имел глупость поверить, и притом как-то решительно невозможно было не взять.

– Cher, cher enfant! – восклицал он, целуя меня и обнимая (признаюсь, я сам было заплакал черт знает с чего, хоть мигом воздержался, и даже теперь, как пишу, у меня краска в лице), – милый друг, ты мне теперь как родной; ты мне в этот месяц стал как кусок моего собственного сердца! В «свете» только «свет» и больше ничего; Катерина Николаевна (дочь его) блестящая женщина, и я горжусь, но она часто, очень-очень, милый мой, часто меня обижает... Ну а эти девочки (elles sont charmantes)¹⁰ и их матери, которые приезжают в именины, – так ведь они только свою канву привозят, а сами ничего не умеют сказать. У меня на шестьдесят подушек их канвы накоплено, все собаки да олени. Я их очень люблю, но с тобой я почти как с родным – и не сыном, а братом, и особенно люблю, когда ты возражаешь; ты литературен, ты читал, ты умеешь восхищаться...

– Я ничего не читал и совсем не литературен. Я читал, что попадетя, а последние два года совсем ничего не читал и не буду читать.

⁸ Не правда ли? Дорогое дитя... (фр.).

⁹ А между тем... Я-то знаю женщин! (фр.).

¹⁰ Они очаровательны (фр.).

– Почему не будешь?

– У меня другие цели.

– Cher...¹¹ жаль, если в конце жизни скажешь себе, как и я: *je sais tout, mais je ne sais rien de bon*¹². Я решительно не знаю, для чего я жил на свете! Но... я тебе столько обязан... и я даже хотел...

Он как-то вдруг оборвал, раскис и задумался. После потрясений (а потрясения с ним могли случаться поминутно, бог знает с чего) он обыкновенно на некоторое время как бы терял здравость рассудка и переставал управлять собой; впрочем, скоро и поправлялся, так что все это было не вредно. Мы просидели с минуту. Нижняя губа его, очень полная, совсем отвисла... Всего более удивило меня, что он вдруг упомянул про свою дочь, да еще с такою откровенностью. Конечно, я приписал расстройству.

– Cher enfant, ты ведь не сердись за то, что я тебе *ты* говорю, не правда ли? – вырвалось у него вдруг.

– Нисколько. Признаюсь, сначала, с первых разов, я был несколько обижен и хотел вам самим сказать *ты*, но увидел, что глупо, потому что не для того же, чтоб унижить меня, вы мне *ты* говорите?

Он уже не слушал и забыл свой вопрос.

– Ну, что *отец*? – поднял он вдруг на меня задумчивый взгляд.

Я так и вздрогнул. Во-первых, он Версилова обозначил моим *отцом*, чего бы он себе никогда со мной не позволил, а во-вторых, заговорил о Версилове, чего никогда не случалось.

– Сидит без денег и хандрит, – ответил я кратко, но сам сгорая от любопытства.

– Да, насчет денег. У него сегодня в окружном суде решается их дело, и я жду князя Сережу, с чем-то он придет. Обещался прямо из суда ко мне. Вся их судьба; тут шестьдесят или восемьдесят тысяч. Конечно, я всегда желал добра и Андрею Петровичу (то есть Версилову), и, кажется, он останется победителем, а князья ни при чем. Закон!

– Сегодня в суде? – воскликнул я, пораженный.

Мысль, что Версильов даже и это пренебрег мне сообщить, чрезвычайно поразила меня. «Стало быть, не сказал и матери, может, никому, – представилось мне тотчас же, – вот характер!»

– А разве князь Сокольский в Петербурге? – поразила меня вдруг другая мысль.

– Со вчерашнего дня. Прямо из Берлина, нарочно к этому дню.

Тоже чрезвычайно важное для меня известие. «И он придет сегодня сюда, этот человек, который дал *ему* пощечину!»

– Ну и что ж, – изменилось вдруг все лицо князя, – проповедует бога по-прежнему, и, и... пожалуй, опять по девочкам, по неоперившимся девочкам? Хе-хе! Тут и теперь презабавный наклеивается один анекдот... Хе-хе!

– Кто проповедует? Кто по девочкам?

– Андрей Петрович! Верить ли, он тогда пристал ко всем нам, как лист: что, дескать, едим, об чем мыслим? – то есть почти так. Пугал и очищал: «Если ты религиозен, то как же ты не идешь в монахи?» Почти это и требовал. *Mais quelle idée!*¹³ Если и правильно, то не слишком ли строго? Особенно меня любил Страшным судом пугать, меня из всех.

– Ничего этого я не заметил, вот уж месяц с ним живу, – отвечал я, вслушиваясь с нетерпением. Мне ужасно было досадно, что он не оправился и мямлил так бессвязно.

– Это он только не говорит теперь, а поверь, что так. Человек остроумный, бесспорно, и глубокоученый; но правильный ли это ум? Это все после трех лет его за границей с ним

¹¹ Голубчик (*фр.*).

¹² Я знаю все, но не знаю ничего хорошего (*фр.*).

¹³ Но что за мысль! (*фр.*).

произошло. И, признаюсь, меня очень потряс... и всех потрясал... *Cher enfant, j'aime le bon Dieu...*¹⁴ Я верую, верую сколько могу, но – я решительно вышел тогда из себя. Положим, что я употребил прием легкомысленный, но я это сделал нарочно, в досаде, – и к тому же сущность моего возражения была так же серьезна, как была и с начала мира: «Если высшее существо, – говорю ему, – есть, и существует *персонально*, а не в виде разлитого там духа какого-то по творению, в виде жидкости, что ли (потому что это еще труднее понять), – то где же он живет?» Друг мой, *s'était bête*¹⁵, без сомнения, но ведь и все возражения на это же сводятся. *Un domicile*¹⁶ – это важное дело. Ужасно рассердился. Он там в католичество перешел.

– Об этой идее я тоже слышал. Наверно, вздор.

– Уверяю тебя всем, что есть свято. Вглядишься в него... Впрочем, ты говоришь, что он изменился. Ну а в то время как он нас всех тогда измучил! Веришь ли, он держал себя так, как будто святой, и его мощи явятся. Он у нас отчета в поведении требовал, клянусь тебе! Мощи! *En voilà une autre!*¹⁷ Ну, пусть там монах или пустынник, – а тут человек ходит во фраке, ну, и там все... и вдруг его мощи! Странное желание для светского человека и, признаюсь, странный вкус. Я там ничего не говорю: конечно, все это святыня и все может случиться... К тому же все это *de l'incognu*¹⁸, но светскому человеку даже и неприлично. Если бы как-нибудь случилось со мной, или там мне предложили, то, клянусь, я бы отклонил. Ну я, вдруг, сегодня обедаю в клубе и вдруг потом – *являюсь!* Да я насмешу! Все это я ему тогда же и изложил... Он вериги носил.

Я покраснел от гнева.

– Вы сами видели вериги?

– Я сам не видал, но...

– Так объявляю же вам, что все это – ложь, сплетение гнусных козней и клевета врагов, то есть одного врага, одного главнейшего и бесчеловечного, потому что у него один только враг и есть – это ваша дочь!

Князь вспыхнул в свою очередь.

– *Mon cher*, я прошу тебя и настаиваю, чтоб отныне никогда впредь при мне не упоминать рядом с этой гнусной историей имя моей дочери.

Я приподнялся. Он был вне себя; подбородок его дрожал.

– *Cette histoire infâme!*¹⁹ Я ей не верил, я не хотел никогда верить, но... мне говорят: верь, верь, я...

Тут вдруг вошел лакей и возвестил визит; я опустился опять на мой стул.

IV

Вошли две дамы, обе девицы, одна – падчерица одного двоюродного брата покойной жены князя, или что-то в этом роде, воспитанница его, которой он уже выделил приданое и которая (замечу для будущего) и сама была с деньгами; вторая – Анна Андреевна Версилова, дочь Версилова, старше меня тремя годами, жившая с своим братом у Фанариотовой и которую я видел до этого времени всего только раз в моей жизни, мельком на улице, хотя с братом ее, тоже мельком, уже имел в Москве стычку (очень может быть, и упомяну об этой стычке впоследствии, если место будет, потому что в сущности не стоит). Эта Анна Андреевна была с детства своего особенною фавориткой князя (знакомство Версилова с князем началось ужасно

¹⁴ Дорогое дитя, я люблю Бога... (*фр.*)

¹⁵ Это глупо (*фр.*)

¹⁶ Место жительства (*фр.*)

¹⁷ Вот еще идея! (*фр.*)

¹⁸ Из области неведомого (*фр.*)

¹⁹ Эта мерзкая история!.. (*фр.*)

давно). Я был так смущен только что происшедшим, что, при входе их, даже не встал, хотя князь встал им навстречу; а потом подумал, что уж стыдно вставать, и остался на месте. Главное, я был сбит тем, что князь так закричал на меня три минуты назад, и все еще не знал: уходить мне или нет. Но старик мой уже все забыл совсем, по своему обыкновению, и весь приятно оживился при виде девиц. Он даже, с быстро переменявшейся физиономией и как-то таинственно подмигивая, успел прошептать мне наскоро пред самым их входом:

– Вглядись в Олимпиаду, гляди пристальнее, пристальнее... потом расскажу...

Я глядел на нее довольно пристально и ничего особенного не находил: не так высокого роста девица, полная и с чрезвычайно румяными щеками. Лицо, впрочем, довольно приятное, из нравящихся материалистам. Может быть, выражение доброты, но со складкой. Особенной интеллекцией не могла блистать, но только в высшем смысле, потому что хитрость была видна по глазам. Лет не более девятнадцати. Одним словом, ничего замечательного. У нас в гимназии сказали бы: подушка. (Если я описываю в такой подробности, то единственно для того, что понадобится в будущем.)

Впрочем, и все, что описывал до сих пор, по-видимому с такой ненужной подробностью, – все это ведет в будущее и там понадобится. В своем месте все отзовется; избежать не умел; а если скучно, то прошу не читать.

Совсем другая особа была дочь Версилова. Высокая, немного даже худощавая; продолговатое и замечательно бледное лицо, но волосы черные, пышные; глаза темные, большие, взгляд глубокий; малые и алые губы, свежий рот. Первая женщина, которая мне не внушала омерзения походкой; впрочем, она была тонка и сухощава. Выражение лица не совсем доброе, но важное; двадцать два года. Почти ни одной наружной черты сходства с Версильовым, а между тем, каким-то чудом, необыкновенное сходство с ним в выражении физиономии. Не знаю, хороша ли она собой; тут как на вкус. Обе были одеты очень скромно, так что не стоит описывать. Я ждал, что буду тотчас обижен каким-нибудь взглядом Версильовой или жестом, и приготовился; обидел же меня ее брат в Москве, с первого же нашего столкновения в жизни. Она меня не могла знать в лицо, но, конечно, слышала, что я хожу к князю. Все, что предполагал или делал князь, во всей этой куче его родных и «ожидающих» тотчас же возбуждало интерес и являлось событием, – тем более его внезапное пристрастие ко мне. Мне положительно было известно, что князь очень интересовался судьбой Анны Андреевны и искал ей жениха. Но для Версильовой было труднее найти жениха, чем тем, которые вышивали по канве.

И вот, против всех ожиданий, Версильова, пожав князю руку и обменявшись с ним какими-то веселыми светскими словечками, необыкновенно любопытно посмотрела на меня и, видя, что я на нее тоже смотрю, вдруг мне с улыбкою поклонилась. Правда, она только что вошла и поклонилась как вошедшая, но улыбка была до того добрая, что, видимо, была преднамеренная. И, помню, я испытал необыкновенно приятное ощущение.

– А это... а это – мой милый и юный друг Аркадий Андреевич Дол... – пролепетал князь, заметив, что она мне поклонилась, а я все сижу, – и вдруг осекся: может, сконфузился, что меня с ней знакомит (то есть, в сущности, брата с сестрой). Подушка тоже мне поклонилась; но я вдруг преглупо вскипел и вскочил с места: прилив выделанной гордости, совершенно бессмысленной; все от самолюбия.

– Извините, князь, я – не Аркадий Андреевич, а Аркадий Макарович, – резко отрезал я, совсем уж забыв, что нужно бы ответить дамам поклоном. Черт бы взял эту неблагопристойную минуту!

– Mais... tiens!²⁰ – вскричал было князь, ударив себя пальцем по лбу.

– Где вы учились? – раздался надо мной глупенький и протяжный вопрос прямо подошедшей ко мне подушки.

²⁰ Ах да! (фр.).

– В Москве-с, в гимназии.

– А! Я слышала. Что, там хорошо учат?

– Очень хорошо.

Я все стоял, а говорил точно солдат на рапорте.

Вопросы этой девицы, бесспорно, были ненаходчивы, но, однако ж, она таки нашлась, чем замять мою глупую выходку и облегчить смущение князя, который уж тем временем слушал с веселой улыбкою какое-то веселое нашептыванье ему на ухо Версиловой, – видимо, не обо мне. Но вопрос: зачем же эта девица, совсем мне незнакомая, выискалась заминать мою глупую выходку и все прочее? Вместе с тем невозможно было и представить себе, что она обращалась ко мне только так: тут было намерение. Смотрела она на меня слишком любопытно, точно ей хотелось, чтоб и я ее тоже очень заметил как можно больше. Все это я уже после сообразил и – не ошибся.

– Как, разве сегодня? – вскричал вдруг князь, срываясь с места.

– Так вы не знали? – удивилась Версилова. – Оупре! князь не знал, что Катерина Николаевна сегодня будет. Мы к ней и ехали, мы думали, она уже с утренним поездом и давно дома. Сейчас только съехались у крыльца: она прямо с дороги и сказала нам пройти к вам, а сама сейчас придет... Да вот и она!

Отворилась боковая дверь и – *та женщина появилась!*

Я уже знал ее лицо по удивительному портрету, висевшему в кабинете князя; я изучал этот портрет весь этот месяц. При ней же я провел в кабинете минуты три и ни на одну секунду не отрывал глаз от ее лица. Но если б я не знал портрета и после этих трех минут спросили меня: «Какая она?» – я бы ничего не ответил, потому что все у меня заволоклось.

Я только помню из этих трех минут какую-то действительно прекрасную женщину, которую князь целовал и крестил рукой и которая вдруг быстро стала глядеть – так-таки прямо только что вошла – на меня. Я ясно расслышал, как князь, очевидно показав на меня, пробормотал что-то, с маленьким каким-то смехом, про нового секретаря и произнес мою фамилию. Она как-то вздернула лицо, скверно на меня посмотрела и так нахально улыбнулась, что я вдруг шагнул, подошел к князю и пробормотал, ужасно дрожа, не доканчивая ни одного слова, кажется стуча зубами:

– С тех пор я... мне теперь свои дела... Я иду.

И я повернулся и вышел. Мне никто не сказал ни слова, даже князь; все только глядели. Князь мне передал потом, что я так побледнел, что он «просто струсил».

Да нужды нет!

Глава третья

I

Именно нужды не было: высшее соображение поглощало все мелочи, и одно могущественное чувство удовлетворяло меня за всё. Я вышел в каком-то восхищении. Ступив на улицу, я готов был запеть. Как нарочно, было прелестное утро, солнце, прохожие, шум, движение, радость, толпа. Что, неужели не обидела меня эта женщина? От кого бы перенес я такой взгляд и такую нахальную улыбку без немедленного протеста, хотя бы глупейшего, – это все равно, – с моей стороны? Заметьте, она уж и ехала с тем, чтоб меня поскорей оскорбить, еще никогда не видав: в глазах ее я был «подсылный от Версилова», а она была убеждена и тогда, и долго спустя, что Версилов держит в руках всю судьбу ее и имеет средства тотчас же погубить ее, если захочет, посредством одного документа; подозревала по крайней мере это. Тут была дуэль на смерть. И вот – оскорблен я не был! Оскорбление было, но я его не почувствовал! Куда! я даже был рад; приехав ненавидеть, я даже чувствовал, что начинаю любить ее. «Я не знаю, может ли паук ненавидеть ту муху, которую наметил и ловит? Миленькая мушка! Мне кажется, жертву любят; по крайней мере можно любить. Я же вот люблю моего врага: мне, например, ужасно нравится, что она так прекрасна. Мне ужасно нравится, сударыня, что вы так надменны и величественны: были бы вы помирнее, не было бы такого удовольствия. Вы плюнули на меня, а я торжествую; если бы вы в самом деле плюнули мне в лицо настоящим плевром, то, право, я, может быть, не рассердился, потому что вы – моя жертва, *моя*, а не *его*. Как обаятельна эта мысль! Нет, тайное сознание могущества нестерпимо приятнее явного господства. Если б я был стомиллионный богач, я бы, кажется, находил удовольствие именно ходить в самом стареньком платье и чтоб меня принимали за человека самого мизерного, чуть не просящего на бедность, толкали и презирали меня: с меня было бы довольно одного сознания».

Вот как бы я перевел тогдашние мысли и радость мою, и многое из того, что я чувствовал. Прибавлю только, что здесь, в сейчас написанном, вышло легкомысленнее: на деле я был глубже и стыдливее. Может, я и теперь про себя стыдливее, чем в словах и делах моих; дай-то бог!

Может, я очень худо сделал, что сел писать: внутри безмерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас, – всегда глубже, а на словах – смешнее и бесчестнее. Версилов мне сказал, что совсем обратное тому бывает только у скверных людей. Те только лгут, им легко; а я стараюсь писать всю правду: это ужасно трудно!

II

В это девятнадцатое число я сделал еще один «шаг».

В первый раз с приезда у меня очутились в кармане деньги, потому что накопленные в два года мои шестьдесят рублей я отдал матери, о чем и упомянул выше; но уже несколько дней назад я положил, в день получения жалованья, сделать «пробу», о которой давно мечтал. Еще вчера я вырезал из газеты адрес – объявление «судебного пристава при С.-Петербургском мировом съезде» и проч., и проч. о том, что «девятнадцатого сего сентября, в двенадцать часов утра, Казанской части, такого-то участка и т. д., и т. д., в доме № такой-то, будет продаваться движимое имущество г-жи Лебрехт» и что «опись, оценку и продаваемое имущество можно рассмотреть в день продажи» и т. д., и т. д.

Был второй час в начале. Я поспешил по адресу пешком. Вот уже третий год как я не беру извозчиков – такое дал слово (иначе не скопил бы шестидесяти рублей). Я никогда не ходил на

аукционы, я еще не *позволял* себе этого; и хоть теперешний «шаг» мой был только *примерный*, но и к этому шагу я положил прибегнуть лишь тогда, когда кончу с гимназией, когда порву со всеми, когда забьюсь в скорлупу и стану совершенно свободен. Правда, я далеко был не в «скорлупе» и далеко еще не был свободен; но ведь и шаг я положил сделать лишь в виде пробы – так только, чтоб посмотреть, почти как бы помечтать, а потом уж не приходится, может, долго, до самого того времени, когда начнется серьезно. Для всех это был только маленький, глупенький аукцион, а для меня – то первое бревно того корабля, на котором Колумб поехал открывать Америку. Вот мои тогдашние чувства.

Прибыв на место, я прошел в углубление двора обозначенного в объявлении дома и вошел в квартиру госпожи Лебрехт. Квартира состояла из прихожей и четырех небольших, невысоких комнат. В первой комнате из прихожей стояла толпа, человек даже до тридцати; из них наполовину торгующихся, а другие, по виду их, были или любопытные, или любители, или подсланные от Лебрехт; были и купцы, и жидаы, зарившиеся на золотые вещи, и несколько человек из одетых «чисто». Даже физиономии иных из этих господ врезались в моей памяти. В комнате направо, в открытых дверях, как раз между дверцами, вдвинут был стол, так что в ту комнату войти было нельзя: там лежали описанные и продаваемые вещи. Налево была другая комната, но двери в нее были притворены, хотя и отпирались поминутно на маленькую щелку, в которую, видно было, кто-то выглядывал – должно быть, из многочисленного семейства госпожи Лебрехт, которой, естественно, в это время было очень стыдно. За столом между дверями, лицом к публике, сидел на стуле господин судебный пристав, при знаке, и производил распродажу вещей. Я застал уже дело почти в половине; как вошел – протеснился к самому столу. Продавались бронзовые подсвечники. Я стал глядеть.

Я глядел и тотчас же стал думать: что же я могу тут купить? И куда сейчас дену бронзовые подсвечники, и будет ли достигнута цель, и так ли дело делается, и удастся ли мой расчет? И не детский ли был мой расчет? Все это я думал и ждал. Ощущение было вроде как перед игорным столом в тот момент, когда вы еще не поставили карту, но подошли с тем, что хотите поставить: «захочу поставлю, захочу уйду – моя воля». Сердце тут еще не бьется, но как-то слегка замирает и вздрагивает – ощущение не без приятности. Но нерешимость быстро начинает тяготить вас, и вы как-то слепнете: протягиваете руку, берете карту, но машинально, почти против воли, как будто вашу руку направляет другой; наконец вы решились и ставите – тут уж ощущение совсем иное, огромное. Я не про аукцион пишу, я только про себя пишу: у кого же другого может биться сердце на аукционе?

Были, что горячились, были, что молчали и выжидали, были, что купили и раскаивались. Я даже совсем не сожалел одного господина, который ошибкою, не расслышав, купил мельхиоровый молочник вместо серебряного, вместо двух рублей за пять; даже очень мне весело стало. Пристав варьировал вещи: после подсвечников явились серьги, после серег шитая сафьянная подушка, за нею шкатулка, – должно быть, для разнообразия или соображаясь с требованиями торгующихся. Я не выстоял и десяти минут, подвинулся было к подушке, потом к шкатулке, но в решительную минуту каждый раз осекался: предметы эти казались мне совсем невозможными. Наконец в руках пристава очутился альбом.

«Домашний альбом, в красном сафьяне, подержанный, с рисунками акварелью и тушью, в футляре из резной слоновой кости, с серебряными застежками – цена два рубля!»

Я подступил: вещь на вид изящная, но в костяной резьбе, в одном месте, был изъян. Я только один и подошел смотреть, все молчали; конкурентов не было. Я бы мог отстегнуть застежки и вынуть альбом из футляра, чтоб осмотреть вещь, но правом моим не воспользовался и только махнул дрожащей рукой: «дескать, все равно».

– Два рубля пять копеек, – сказал я, опять, кажется, стуча зубами.

Осталось за мной. Я тотчас же вынул деньги, заплатил, схватил альбом и ушел в угол комнаты; там вынул его из футляра и лихорадочно, наскоро, стал разглядывать: не считая футляра,

это была самая дрянная вещь в мире – альбомчик в размер листа почтовой бумаги малого формата, тоненький, с золотым истершимся обрезом, точь-в-точь такой, как заводились в старину у только что вышедших из института девиц. Тушью и красками нарисованы были храмы на горе, амуры, пруд с плавающими лебедями; были стишки:

Я в путь далекий отправляюсь,
С Москвой надолго расстаюсь,
Надолго с милыми прощаюсь
И в Крым на почтовых несусь.

(Уцелели-таки в моей памяти!) Я решил, что «провалился»; если кому чего не надо, так именно этого.

«Ничего, – решил я, – первую карту непременно проигрывают; даже примета хорошая». Мне решительно было весело.

– Ах, опоздал; у вас? Вы приобрели? – вдруг раздался подле меня голос господина в синем пальто, видного собой и хорошо одетого. Он опоздал.

– Я опоздал. Ах, как жаль! За сколько?

– Два рубля пять копеек.

– Ах, как жаль! а вы бы не уступили?

– Выйдемте, – шепнул я ему, замирая.

Мы вышли на лестницу.

– Я уступлю вам за десять рублей, – сказал я, чувствуя холод в спине.

– Десять рублей! Помилуйте, что вы!

– Как хотите.

Он смотрел на меня во все глаза; я был одет хорошо, совсем не похож был на жида или перекупщика.

– Помилосердуйте, да ведь это – дрянной старый альбом, кому он нужен? Футляр в сущности ведь ничего не стоит, ведь вы же не продадите никому?

– Вы же покупаете.

– Да ведь я по особому случаю, я только вчера узнал: ведь этакий я только один и есть! Помилуйте, что вы!

– Я бы должен был спросить двадцать пять рублей; но так как тут все-таки риск, что вы отступитесь, то я спросил только десять для верности. Не спущу ни копейки.

Я повернулся и пошел.

– Да возьмите четыре рубля, – нагнал он меня уже на дворе, – ну, пять.

Я молчал и шагал.

– Нате, берите! – Он вынул десять рублей, я отдал альбом.

– А согласитесь, что это нечестно! Два рубля и десять, – а?

– Почему нечестно? Рынок!

– Какой тут рынок? (Он сердился.)

– Где спрос, там и рынок; не спроси вы, – за сорок копеек не продал бы.

Я хоть не заливался хохотом и был серьезен, но хохотал внутри, – хохотал не то что от восторга, а сам не знаю отчего, немного задыхался.

– Слушайте, – пробормотал я совершенно неудержимо, но дружески и ужасно любя его, – слушайте: когда Джемс Ротшильд, покойник, парижский, вот что тысячу семьсот миллионов франков оставил (он кивнул головой), еще в молодости, когда случайно узнал, за несколько часов раньше всех, об убийстве герцога Беррийского, то тотчас поскорее дал знать кому следует и одной только этой штукой, в один миг, нажил несколько миллионов, – вот как люди делают!

– Так вы Ротшильд, что ли? – крикнул он мне с негодованием, как дураку.

Я быстро вышел из дому. Один шаг – и семь рублей девяносто пять копеек нажил! Шаг был бессмысленный, детская игра, я согласен, но он все-таки совпадал с моею мыслью и не мог не взволновать меня чрезвычайно глубоко... Впрочем, нечего чувства описывать. Десятирублевая была в жилетном кармане, я просунул два пальца пощупать – и так и шел не вынимая руки. Отойдя шагов сто по улице, я вынул ее посмотреть, посмотрел и хотел поцеловать. У подъезда дома вдруг прогремела карета; швейцар отворил двери, и из дому вышла садиться в карету дама, пышная, молодая, красивая, богатая, в шелку и бархате, с двухаршинным хвостом. Вдруг хорошенький маленький портфельчик выскочил у ней из руки и упал на землю; она села; лакей нагнулся поднять вещицу, но я быстро подскочил, поднял и вручил даме, приподняв шляпу. (Шляпа – цилиндр, я был одет, как молодой человек, недурно.) Дама сдержанно, но с приятнейшей улыбкой проговорила мне: «Merci, мсье». Карета загремела. Я поцеловал десятирублевую.

III

Мне в этот же день надо было видеть Ефима Зверева, одного из прежних товарищей по гимназии, бросившего гимназию и поступившего в Петербурге в одно специальное высшее училище. Сам он не стоит описания, и, собственно, в дружеских отношениях я с ним не был; но в Петербурге его отыскал; он мог (по разным обстоятельствам, о которых говорить тоже не стоит) тотчас же сообщить мне адрес одного Крафта, чрезвычайно нужного мне человека, только что тот вернется из Вильно. Зверев ждал его именно сегодня или завтра, о чем третьего дня дал мне знать. Идти надо было на Петербургскую сторону, но усталости я не чувствовал.

Зверева (ему тоже было лет девятнадцать) я застал на дворе дома его тетки, у которой он временно проживал. Он только что пообедал и ходил по двору на ходулях; тотчас же сообщил мне, что Крафт приехал еще вчера и остановился на прежней квартире, тут же на Петербургской, и что он сам желает как можно скорее меня видеть, чтобы немедленно сообщить нечто нужное.

– Куда-то едет опять, – прибавил Ефим.

Так как видеть Крафта в настоящих обстоятельствах для меня было капитально важно, то я и попросил Ефима тотчас же свести меня к нему на квартиру, которая, оказалось, была в двух шагах, где-то в переулке. Но Зверев объявил, что час тому уж его встретил и что он прошел к Дергачеву.

– Да пойдём к Дергачеву, что ты все отнекиваешься; трусишь?

Действительно, Крафт мог засидеться у Дергачева, и тогда где же мне его ждать? К Дергачеву я не трусил, но идти не хотел, несмотря на то что Ефим тащил меня туда уже третий раз. И при этом «трусишь» всегда произносил с прескверной улыбкой на мой счет. Тут была не трусость, объявляю заранее, а если я боялся, то совсем другого. На этот раз пойти решился; это тоже было в двух шагах. Дорогой я спросил Ефима, все ли еще он держит намерение бежать в Америку?

– Может, и подожду еще, – ответил он с легким смехом.

Я его не так любил, даже не любил вовсе. Он был очень бел волосами, с полным, слишком белым лицом, даже неприлично белым, до детскости, а ростом даже выше меня, но принять его можно было не иначе как за семнадцатилетнего. Говорить с ним было не о чем.

– Да что ж там? неужто всегда толпа? – справился я для основательности.

– Да чего ты все трусишь? – опять засмеялся он.

– Убирайся к черту, – рассердился я.

– Все не толпа. Приходят только знакомые, и уж все свои, будь покоен.

– Да черт ли мне за дело, свои или не свои! Я вот разве там свой? Почему они во мне могут быть уверены?

– Я тебя привел, и довольно. О тебе даже слышали. Крафт тоже может о тебе заявить.

– Слушай, будет там Васин?

– Не знаю.

– Если будет, как только войдем, толкни меня и укажи Васина; только что войдем, слышишь?

Об Васине я уже довольно слышал и давно интересовался.

Дергачев жил в маленьком флигеле, на дворе деревянного дома одной купчихи, но зато флигель занимал весь. Всего было чистых три комнаты. Во всех четырех окнах были спущены шторы. Это был техник и имел в Петербурге занятие; я слышал мельком, что ему выходило одно выгодное частное место в губернии и что он уже отправляется.

Только что мы вошли в крошечную прихожую, как послышались голоса; кажется, горячо спорили и кто-то кричал: «*Quae medicamenta non sanant – ferrum sanat, quae ferrum non sanat – ignis sanat!*»²¹

Я действительно был в некотором беспокойстве. Конечно, я не привык к обществу, даже к какому бы ни было. В гимназии я с товарищами был на *ты*, но ни с кем почти не был товарищем, я сделал себе угол и жил в углу. Но не это смущало меня. На всякий случай я дал себе слово не входить в споры и говорить только самое необходимое, так чтоб никто не мог обо мне ничего заключить; главное – не спорить.

В комнате, даже слишком небольшой, было человек семь, а с дамами человек десять. Дергачеву было двадцать пять лет, и он был женат. У жены была сестра и еще родственница; они тоже жили у Дергачева. Комната была меблирована кое-как, впрочем достаточно, и даже было чисто. На стене висел литографированный портрет, но очень дешевый, а в углу образ без ризы, но с горевшей лампадкой. Дергачев подошел ко мне, пожал руку и попросил садиться.

– Садитесь, здесь все свои.

– Сделайте одолжение, – прибавила тотчас же довольно миловидная молоденькая женщина, очень скромно одетая, и, слегка поклонившись мне, тотчас же вышла. Это была жена его, и, кажется, по виду она тоже спорила, а ушла теперь кормить ребенка. Но в комнате оставались еще две дамы – одна очень небольшого роста, лет двадцати, в черном платье и тоже не из дурных, а другая лет тридцати, сухая и востроглазая. Они сидели, очень слушали, но в разговор не вступали.

Что же касается до мужчин, то все были на ногах, а сидели только, кроме меня, Крафт и Васин; их указал мне тотчас же Ефим, потому что я и Крафта видел теперь в первый раз в жизни. Я встал с места и подошел с ним познакомиться. Крафтово лицо я никогда не забуду: никакой особенной красоты, но что-то как бы уж слишком незлобивое и деликатное, хотя собственное достоинство так и выставлялось во всем. Двадцати шести лет, довольно сухощав, росту выше среднего, белокур, лицо серьезное, но мягкое; что-то во всем нем было такое тихое. А между тем спросите, – я бы не променял моего, может быть, даже очень пошлого лица, на его лицо, которое казалось мне так привлекательным. Что-то было такое в его лице, чего бы я не захотел в свое, что-то такое слишком уж спокойное в нравственном смысле, что-то вроде какой-то тайной, себе неведомой гордости. Впрочем, так буквально судить я тогда, вероятно, не мог; это мне теперь кажется, что я тогда так судил, то есть уже после события.

– Очень рад, что вы пришли, – сказал Крафт. – У меня есть одно письмо, до вас относящееся. Мы здесь посидим, а потом пойдем ко мне.

Дергачев был среднего роста, широкоплеч, сильный брюнет с большой бородой; во взгляде его видна была сметливость и во всем сдержанность, некоторая непрерывная осторожность; хоть он больше молчал, но очевидно управлял разговором. Физиономия Васина не очень поразила меня, хоть я слышал о нем как о чрезмерно умном: белокурый, с светло-серыми

²¹ Чего не исцеляют лекарства – исцеляет железо, чего не исцеляет железо – исцеляет огонь! (*лат.*)

большими глазами, лицо очень открытое, но в то же время в нем что-то было как бы излишне твердое; предчувствовалось мало общительности, но взгляд решительно умный, умнее дергачевского, глубже, – умнее всех в комнате; впрочем, может быть, я теперь все преувеличиваю. Из остальных я припоминаю всего только два лица из всей этой молодежи: одного высокого смуглого человека, с черными бакенами, много говорившего, лет двадцати семи, какого-то учителя или вроде того, и еще молодого парня моих лет, в русской поддевке, – лицо со складкой, молчаливое, из прислушивающихся. Он и оказался потом из крестьян.

– Нет, это не так надо ставить, – начал, очевидно возобновляя давешний спор, учитель с черными бакенами, горячившийся больше всех, – про математические доказательства я ничего не говорю, но это идея, которой я готов верить и без математических доказательств...

– Подожди, Тихомиров, – громко перебил Дергачев, – вошедшие не понимают. Это, видите ли, – вдруг обратился он ко мне одному (и признаюсь, если он имел намерение обэкзаменовать во мне новичка или заставить меня говорить, то прием был очень ловкий с его стороны; я тотчас это почувствовал и приготовился), – это, видите ли, вот господин Крафт, довольно уже нам всем известный и характером и солидностью убеждений. Он, вследствие весьма обыкновенного факта, пришел к весьма необыкновенному заключению, которым всех удивил. Он вывел, что русский народ есть народ второстепенный...

– Третьестепенный, – крикнул кто-то.

– ...второстепенный, которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества. Ввиду этого, может быть и справедливого, своего вывода господин Крафт пришел к заключению, что всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована, так сказать, у всех должны опуститься руки и...

– Позволь, Дергачев, это не так надо ставить, – опять подхватил с нетерпением Тихомиров (Дергачев тотчас же уступил). – Ввиду того, что Крафт сделал серьезные изучения, вывел выводы на основании физиологии, которые признает математическими, и убил, может быть, года два на свою идею (которую я бы принял преспокойно а priori), ввиду этого, то есть ввиду тревог и серьезности Крафта, это дело представляется в виде феномена. Из всего выходит вопрос, который Крафт понимать не может, и вот этим и надо заняться, то есть непониманием Крафта, потому что это феномен. Надо разрешить, принадлежит ли этот феномен клинике, как единичный случай, или есть свойство, которое может нормально повторяться в других; это интересно в видах уже общего дела. Про Россию я Крафту поверю и даже скажу, что, пожалуй, и рад; если б эта идея была всеми усвоена, то развязала бы руки и освободила многих от патристического предрассудка...

– Я не из патриотизма, – сказал Крафт как бы с какой-то натугой. Все эти дебаты были, кажется, ему неприятны.

– Патриотизм или нет, это можно оставить в стороне, – промолвил Васин, очень молчаливый.

– Но чем, скажите, вывод Крафта мог бы ослабить стремление к общечеловеческому делу? – кричал учитель (он один только кричал, все остальные говорили тихо). – Пусть Россия осуждена на второстепенность; но можно работать и не для одной России. И, кроме того, как же Крафт может быть патриотом, если он уже перестал в Россию верить?

– К тому же немец, – послышался опять голос.

– Я – русский, – сказал Крафт.

– Это – вопрос, не относящийся прямо к делу, – заметил Дергачев перебившему.

– Выйдите из узкости вашей идеи, – не слушал ничего Тихомиров. – Если Россия только материал для более благородных племен, то почему же ей и не послужить таким материалом? Это – роль довольно еще благовидная. Почему не успокоиться на этой идее ввиду расширения задачи? Человечество накануне своего перерождения, которое уже началось. Предстоя-

щую задачу отрицают только слепые. Оставьте Россию, если вы в ней разуверились, и работайте для будущего, – для будущего еще неизвестного народа, но который составит из всего человечества, без разбора племен. И без того Россия умерла бы когда-нибудь; народы, даже самые даровитые, живут всего по полторы, много по две тысячи лет; не все ли тут равно: две тысячи или двести лет? Римляне не прожили и полутора тысяч лет в живом виде и обратились тоже в материал. Их давно нет, но они оставили идею, и она вошла элементом дальнейшего в судьбы человечества. Как же можно сказать человеку, что нечего делать? Я представить не могу положения, чтоб когда-нибудь было нечего делать! Делайте для человечества и об остальном не заботьтесь. Дела так много, что неостанет жизни, если внимательно оглянуться.

– Надо жить по закону природы и правды, – проговорила из-за двери госпожа Дергачева. Дверь была капельку приотворена, и видно было, что она стояла, держа ребенка у груди, с прикрытой грудью, и горячо прислушивалась.

Крафт слушал, слегка улыбаясь, и произнес наконец, как бы с несколько измученным видом, впрочем с сильною искренностью:

– Я не понимаю, как можно, будучи под влиянием какой-нибудь господствующей мысли, которой подчиняются ваш ум и сердце вполне, жить еще чем-нибудь, что вне этой мысли?

– Но если вам доказано логически, математически, что ваш вывод ошибочен, что вся мысль ошибочна, что вы не имеете ни малейшего права исключать себя из всеобщей полезной деятельности из-за того только, что Россия – предназначенная второстепенность; если вам указано, что вместо узкого горизонта вам открывается бесконечность, что вместо узкой идеи патриотизма...

– Э! – тихо махнул рукой Крафт, – я ведь сказал вам, что тут не патриотизм.

– Тут, очевидно, недоумение, – ввязался вдруг Васин. – Ошибка в том, что у Крафта не один логический вывод, а, так сказать, вывод, обратившийся в чувство. Не все натуры одинаковы; у многих логический вывод обращается иногда в сильнейшее чувство, которое захватывает все существо и которое очень трудно изгнать или переделать. Чтоб вылечить такого человека, надо в таком случае изменить самое это чувство, что возможно не иначе как заменив его другим, равносильным. Это всегда трудно, а во многих случаях невозможно.

– Ошибка! – завопил спорщик, – логический вывод уже сам по себе разлагает предрасудки. Разумное убеждение порождает то же чувство. Мысль выходит из чувства и в свою очередь, водворяясь в человеке, формулирует новое!

– Люди очень разнообразны: одни легко переменяют чувства, другие тяжело, – ответил Васин, как бы не желая продолжать спор; но я был в восхищении от его идеи.

– Это именно так, как вы сказали! – обратился я вдруг к нему, разбивая лед и начиная вдруг говорить. – Именно надо вместо чувства вставить другое, чтоб заменить. В Москве, четыре года назад, один генерал... Видите, господа, я его не знал, но... Может быть, он, собственно, и не мог внушать сам по себе уважения... И притом самый факт мог явиться неразумным, но... Впрочем, у него, видите ли, умер ребенок, то есть, в сущности, две девочки, обе одна за другой, в скарлатине... Что ж, он вдруг так был убит, что все грустил, так грустил, что ходит и на него глядеть нельзя, – и кончил тем, что умер, почти после полгода. Что он от этого умер, то это факт! Чем, стало быть, можно было его воскресить? Ответ: равносильным чувством! Надо было выкопать ему из могилы этих двух девочек и дать их – вот и все, то есть в этом роде. Он и умер. А между тем можно бы было представить ему прекрасные выводы: что жизнь скоростижна, что все смертно, представить из календаря статистику, сколько умирает от скарлатины детей... Он был в отставке...

Я остановился, задыхаясь и оглядываясь кругом.

– Это совсем не то, – проговорил кто-то.

– Приведенный вами факт хоть и неоднороден с данным случаем, но все же похож и поясняет дело, – обратился ко мне Васин.

IV

Здесь я должен сознаться, почему я пришел в восхищение от аргумента Васина насчет «идеи-чувства», а вместе с тем должен сознаться в адском стыде. Да, я трусил идти к Дергачеву, хотя и не от той причины, которую предполагал Ефим. Я трусил оттого, что еще в Москве их боялся. Я знал, что они (то есть они или другие в этом роде – это все равно) – диалектики и, пожалуй, разобьют «мою идею». Я твердо был уверен в себе, что им идею мою не выдам и не скажу; но они (то есть опять-таки они или вроде них) могли мне сами сказать что-нибудь, отчего я бы сам разочаровался в моей идее, даже и не заикаясь им про нее. В «моей идее» были вопросы, мною не разрешенные, но я не хотел, чтоб кто-нибудь разрешал их, кроме меня. В последние два года я даже перестал книги читать, боясь наткнуться на какое-нибудь место не в пользу «идеи», которое могло бы потрясти меня. И вдруг Васин разом разрешает задачу и успокаивает меня в высшем смысле. В самом деле, чего же я боялся и что могли они мне сделать какой бы там ни было диалектикой? Я, может быть, один там и понял, что такое Васин говорил про «идею-чувство»! Мало опровергнуть прекрасную идею, надо заменить ее равносильным прекрасным; не то я, не желая ни за что расставаться с моим чувством, опровергну в моем сердце опровержение, хотя бы насильно, что бы там они ни сказали. А что они могли дать мне взамен? И потому я бы мог быть храбрее, я был обязан быть мужественнее. Придя в восхищение от Васина, я почувствовал стыд, а себя – недостойным ребенком!

Тут и еще вышел стыд. Не гаденькое чувство похвалиться моим умом заставило меня у них разбить лед и заговорить, но и желание «прыгнуть на шею». Это желание прыгнуть на шею, чтоб признали меня за хорошего и начали меня обнимать или вроде того (словом, свинство), я считаю в себе самым мерзким из всех моих стыдов и подозревал его в себе еще очень давно, и именно от угла, в котором продержал себя столько лет, хотя не раскаиваюсь. Я знал, что мне надо держать себя в людях мрачнее. Меня утешало, после всякого такого позора, лишь то, что все-таки «идея» при мне, в прежней тайне, и что я ее им не выдал. С замиранием представлял я себе иногда, что когда выскажу кому-нибудь мою идею, то тогда у меня вдруг ничего не останется, так что я стану похож на всех, а может быть, и идею брошу; а потому берег и хранил ее и трепетал болтовни. И вот, у Дергачева, с первого почти столкновения не выдержал: ничего не выдал, конечно, но болтал непозволительно; вышел позор. Воспоминание скверное! Нет, мне нельзя жить с людьми; я и теперь это думаю; на сорок лет вперед говорю. Моя идея – угол.

V

Только что Васин меня похвалил, мне вдруг нестерпимо захотелось говорить.

– По-моему, всякий имеет право иметь свои чувства... если по убеждению... с тем, чтоб уж никто его не укорял за них, – обратился я к Васину. Хоть я проговорил и бойко, но точно не я, а во рту точно чужой язык шевелился.

– Бу-удто-с? – тотчас же подхватил и протянул с иронией тот самый голос, который перебывал Дергачева и крикнул Крафту, что он немец. Считая его полным ничтожеством, я обратился к учителю, как будто это он крикнул мне.

– Мое убеждение, что я никого не смею судить, – дрожал я, уже зная, что полечу.

– Зачем же так секретно? – раздался опять голос ничтожества.

– У всякого своя идея, – смотрел я в упор на учителя, который, напротив, молчал и рассматривал меня с улыбкой.

– У вас? – крикнуло ничтожество.

– Долго рассказывать... А отчасти моя идея именно в том, чтоб оставили меня в покое. Пока у меня есть два рубля, я хочу жить один, ни от кого не зависеть (не беспокойтесь, я знаю

возражения) и ничего не делать, – даже для того великого будущего человечества, работать на которого приглашали господина Крафта. Личная свобода, то есть моя собственная-с, на первом плане, а дальше знать ничего не хочу.

Ошибка в том, что я рассердился.

– То есть проповедуете спокойствие сытой коровы?

– Пусть. От коровы не оскорбляются. Я никому ничего не должен, я плачу обществу деньги в виде фискальных поборов за то, чтоб меня не обокрали, не прибили и не убили, а больше никто ничего с меня требовать не смеет. Я, может быть, лично и других идей, и захочу служить человечеству, и буду, и, может быть, в десять раз больше буду, чем все проповедники; но только я хочу, чтобы с меня этого никто *не смел требовать*, заставлять меня, как господина Крафта; моя полная свобода, если я даже и пальца не подыму. А бегать да вешаться всем на шею от любви к человечеству да сгорать слезами умиления – это только мода. Да зачем я непременно должен любить моего ближнего или ваше там будущее человечество, которое я никогда не увижу, которое обо мне знать не будет и которое в свою очередь истлеет без всякого следа и воспоминания (время тут ничего не значит), когда Земля обратится в свою очередь в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней, то есть бессмысленнее чего нельзя себе и представить! Вот ваше учение! Скажите, зачем я непременно должен быть благороден, тем более если все продолжается одну минуту.

– Б-ба! – крикнул голос. Я выпалил все это нервно и злобно, порвав все веревки. Я знал, что лечу в яму, но я торопился, боясь возражений. Я слишком чувствовал, что сыплю как сквозь решето, бессвязно и через десять мыслей в одиннадцатую, но я торопился их убедить и перепобедить. Это так было для меня важно! Я три года готовился! Но замечательно, что они вдруг замолчали, ровно ничего не говорили, а все слушали. Я все продолжал обращаться к учителю:

– Именно-с. Один чрезвычайно умный человек говорил, между прочим, что нет ничего труднее, как ответить на вопрос: «Зачем непременно надо быть благородным?» Видите ли-с, есть три рода подлецов на свете: подлецы наивные, то есть убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство, подлецы стыдящиеся, то есть стыдящиеся собственной подлости, но при непременном намерении все-таки ее докончить, и, наконец, просто подлецы, чистокровные подлецы. Позвольте-с: у меня был товарищ, Ламберт, который говорил мне еще шестнадцати лет, что когда он будет богат, то самое большое наслаждение его будет кормить хлебом и мясом собак, когда дети бедных будут умирать с голоду; а когда им топить будет нечем, то он купит целый дровяной двор, сложит в поле и вытопит поле, а бедным ни полена не даст. Вот его чувства! Скажите, что я отвечу этому чистокровному подлецу на вопрос: «Почему он непременно должен быть благородным?» И особенно теперь, в наше время, которое вы так переделали. Потому что хуже того, что теперь, – никогда не бывало. В нашем обществе совсем неясно, господа. Ведь вы бога отрицаете, подвиг отрицаете, какая же косность, глухая, слепая, тупая, может заставить меня действовать так, если мне выгоднее иначе? Вы говорите: «Разумное отношение к человечеству есть тоже моя выгода»; а если я нахожу все эти разумности неразумными, все эти казармы, фаланги? Да черт мне в них, и до будущего, когда я один только раз на свете живу! Позвольте мне самому знать мою выгоду: оно веселее. Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, если мне за это, по вашему кодексу, – ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига? Нет-с, если так, то я самым пренебрежительным образом буду жить для себя, а там хоть бы все провалились!

– Превосходное желание!

– Впрочем, я всегда готов вместе.

– Еще лучше! (Это все тот голос.)

Остальные все продолжали молчать, все глядели и меня разглядывали; но мало-помалу с разных концов комнаты началось хихиканье, еще тихое, но все хихикали мне прямо в глаза. Васин и Крафт только не хихикали. С черными бакенами тоже ухмылялся; он в упор смотрел на меня и слушал.

– Господа, – дрожал я весь, – я мою идею вам не скажу ни за что, но я вас, напротив, с вашей же точки спрошу, – не думайте, что с моей, потому что я, может быть, в тысячу раз больше люблю человечество, чем вы все, вместе взятые! Скажите, – и вы уж теперь непременно должны ответить, вы обязаны, потому что смеетесь, – скажите: чем прельстите вы меня, чтоб я шел за вами? Скажите, чем докажете вы мне, что у вас будет лучше? Куда вы денете протест моей личности в вашей казарме? Я давно, господа, желал с вами встретиться! У вас будет казарма, общие квартиры, *stricte nécessaire*²², атеизм и общие жены без детей – вот ваш финал, ведь я знаю-с. И за все за это, за ту маленькую часть серединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок и тепло, вы берете взамен всю мою личность! Позвольте-с: у меня там жену уведут; уймете ли вы мою личность, чтоб я не размозжил противнику голову? Вы скажете, что я тогда и сам поумнею; но жена-то что скажет о таком разумном муже, если сколько-нибудь себя уважает? Ведь это неестественно-с; постыдитесь!

– А вы по женской части – специалист? – раздался с злорадством голос ничтожества.

Одно мгновение у меня была мысль броситься и начать его тужить кулаками. Это был невысокого роста, рыжеватый и весноватый... да, впрочем, черт бы взял его наружность!

– Успокойтесь, я еще никогда не знал женщины, – отрезал я, в первый раз к нему повертываясь.

– Драгоценное сообщение, которое могло бы быть сделано вежливее, ввиду дам!

Но все вдруг густо зашевелились; все стали разбирать шляпы и хотели идти, – конечно, не из-за меня, а им пришло время; но это молчаливое отношение ко мне раздавило меня стыдом. Я тоже вскочил.

– Позвольте, однако, узнать вашу фамилию, вы все смотрели на меня? – ступил вдруг ко мне учитель с подлейшей улыбкой.

– Долгорукий.

– Князь Долгорукий?

– Нет, просто Долгорукий, сын бывшего крепостного Макара Долгорукого и незаконный сын моего бывшего барина господина Версилова. Не беспокойтесь, господа: я вовсе не для того, чтобы вы сейчас же бросились ко мне за это на шею и чтобы мы все завыли как телята от умиления!

Громкий и самый бесцеремонный залп хохота раздался разом, так что заснувший за дверью ребенок проснулся и запищал. Я трепетал от ярости. Все они жали руку Дергачеву и выходили, не обращая на меня никакого внимания.

– Пойдемте, – толкнул меня Крафт.

Я подошел к Дергачеву, изо всех сил сжал ему руку и потряс ее несколько раз тоже изо всей силы.

– Извините, что вас все обижал Кудрюмов (это рыжеватый), – сказал мне Дергачев.

Я пошел за Крафтом. Я ничего не стыдился.

VI

Конечно, между мной теперешним и мной тогдашним – бесконечная разница.

Продолжая «ничего не стыдиться», я еще на лесенке нагнал Васина, отстав от Крафта, как от второстепенности, и с самым натуральным видом, точно ничего не случилось, спросил:

²² Строго необходимое (*фр.*).

– Вы, кажется, изволите знать моего отца, то есть я хочу сказать Версилова?

– Я, собственно, не знаком, – тотчас ответил Васин (и без малейшей той обидной утонченной вежливости, которую берут на себя люди деликатные, говоря с тотчас же осрамившимся), – но я несколько его знаю; встречался и слушал его.

– Коли слушали, так, конечно, знаете, потому что вы – вы! Как вы о нем думаете? Простите за скорый вопрос, но мне нужно. Именно как *вы* бы думали, собственно *ваше* мнение необходимо.

– Вы с меня много спрашиваете. Мне кажется, этот человек способен задать себе огромные требования и, может быть, их выполнить, – но отчету никому не отдающий.

– Это верно, это очень верно, это – очень гордый человек! Но чистый ли это человек? Послушайте, что вы думаете о его католичестве? Впрочем, я забыл, что вы, может быть, не знаете...

Если б я не был так взволнован, уж разумеется, я бы не стрелял такими вопросами, и так зря, в человека, с которым никогда не говорил, а только о нем слышал. Меня удивляло, что Васин как бы не замечал моего сумасшествия!

– Я слышал что-то и об этом, но не знаю, насколько это могло бы быть верно, – по-прежнему спокойно и ровно ответил он.

– Ничуть! это про него неправду! Неужели вы думаете, что он может верить в бога?

– Это – очень гордый человек, как вы сейчас сами сказали, а многие из очень гордых людей любят верить в бога, особенно несколько презирающие людей. У многих сильных людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность – найти кого-нибудь или что-нибудь, перед чем преклониться. Сильному человеку иногда очень трудно переносить свою силу.

– Послушайте, это, должно быть, ужасно верно! – вскричал я опять. – Только я бы желал понять...

– Тут причина ясная: они выбирают бога, чтоб не преклоняться перед людьми, – разумеется, сами не ведая, как это в них делается: преклониться пред богом не так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие – вернее сказать, горячо желающие верить; но желания они принимают за самую веру. Из таких особенно часто бывают под конец разочаровывающиеся. Про господина Версилова я думаю, что в нем есть и чрезвычайно искренние черты характера. И вообще он меня заинтересовал.

– Васин! – вскричал я, – вы меня радуете! Я не уму вашему удивляюсь, я удивляюсь тому, как можете вы, человек столь чистый и так безмерно надо мной стоящий, – как можете вы со мной идти и говорить так просто и вежливо, как будто ничего не случилось!

Васин улыбнулся.

– Вы уж слишком меня хвалите, а случилось там только то, что вы слишком любите отвлеченные разговоры. Вы, вероятно, очень долго перед этим молчали.

– Я три года молчал, я три года говорить готовился... Дураком я вам, разумеется, показаться не мог, потому что вы сами чрезвычайно умны, хотя глупее меня вести себя невозможно, но подлецом!

– Подлецом?

– Да, несомненно! Скажите, не презираете вы меня втайне за то, что я сказал, что я незаконнорожденный Версилова... и похвалился, что сын дворового?

– Вы слишком себя мучите. Если находите, что сказали дурно, то стоит только не говорить в другой раз; вам еще пятьдесят лет впереди.

– О, я знаю, что мне надо быть очень молчаливым с людьми. Самый подлый из всех развратов – это вешаться на шею; я сейчас это им сказал, и вот я и вам вешаюсь! Но ведь есть разница, есть? Если вы поняли эту разницу, если способны были понять, то я благословлю эту минуту!

Васин опять улыбнулся.

– Приходите ко мне, если захотите, – сказал он. – Я имею теперь работу и занят, но вы сделаете мне удовольствие.

– Я заключил об вас давеча, по физиономии, что вы излишне тверды и несообщительны.

– Это очень может быть верно. Я знал вашу сестру, Лизавету Макаровну, прошлого года, в Луге... Крафт остановился и, кажется, вас ждет; ему поворачивать.

Я крепко пожал руку Васина и добежал до Крафта, который все шел впереди, пока я говорил с Васиным. Мы молча дошли до его квартиры; я не хотел еще и не мог говорить с ним. В характере Крафта одною из сильнейших черт была деликатность.

Глава четвертая

I

Крафт прежде где-то служил, а вместе с тем и помогал покойному Андроникову (за вознаграждение от него) в ведении иных частных дел, которыми тот постоянно занимался сверх своей службы. Для меня важно было уже то, что Крафту, вследствие особенной близости его с Андрониковым, могло быть многое известно из того, что так интересовало меня. Но я знал от Марьи Ивановны, жены Николая Семеновича, у которого я прожил столько лет, когда ходил в гимназию, – и которая была родной племянницей, воспитанницей и любимицей Андроникова, что Крафту даже «поручено» передать мне нечто. Я уже ждал его целый месяц.

Он жил в маленькой квартире, в две комнаты, совершенным особняком, а в настоящую минуту, только что воротившись, был даже и без прислуги. Чемодан был хоть и раскрыт, но не убран, вещи валялись на стульях, а на столе, перед диваном, разложены были: саквояж, дорожная шкатулка, револьвер и проч. Войдя, Крафт был в чрезвычайной задумчивости, как бы забыв обо мне вовсе; он, может быть, и не заметил, что я с ним не разговаривал дорогой. Он тотчас же что-то принялся искать, но, взглянув мимоходом в зеркало, остановился и целую минуту пристально рассматривал свое лицо. Я хоть и заметил эту особенность (а потом слишком все припомнил), но я был грустен и очень смущен. Я был не в силах сосредоточиться. Одно мгновение мне вдруг захотелось взять и уйти и так оставить все дела навсегда. Да и что такое были все эти дела в сущности? Не одной ли напускной на себя заботой? Я приходил в отчаяние, что трачу мою энергию, может быть, на недостойные пустяки из одной чувствительности, тогда как сам имею перед собой энергическую задачу. А между тем неспособность моя к серьезному делу очевидно обозначалась, ввиду того, что случилось у Дергачева.

– Крафт, вы к ним и еще пойдете? – вдруг спросил я его. Он медленно обернулся ко мне, как бы плохо понимая меня. Я сел на стул.

– Простите их! – сказал вдруг Крафт.

Мне, конечно, показалось, что это насмешка; но, взглянув пристально, я увидел в лице его такое странное и даже удивительное простодушие, что мне даже самому удивительно стало, как это он так серьезно попросил меня их «простить». Он поставил стул и сел подле меня.

– Я сам знаю, что я, может быть, сброд всех самолюбий и больше ничего, – начал я, – но не прошу прощения.

– Да и совсем не у кого, – проговорил он тихо и серьезно. Он все время говорил тихо и очень медленно.

– Пусть я буду виноват перед собой... Я люблю быть виновным перед собой... Крафт, простите, что я у вас вру. Скажите, неужели вы тоже в этом кружке? Я вот об чем хотел спросить.

– Они не глупее других и не умнее; они – помешанные, как все.

– Разве все – помешанные? – повернулся я к нему с невольным любопытством.

– Из людей получше теперь все – помешанные. Сильно кутит одна середина и бездарность... Впрочем, это все не стоит.

Говоря, он смотрел как-то в воздух, начинал фразы и обрывал их. Особенно поражало какое-то уныние в его голосе.

– Неужели и Васин с ними? В Васине – ум, в Васине – нравственная идея! – вскричал я.

– Нравственных идей теперь совсем нет; вдруг ни одной не оказалось, и, главное, с таким видом, что как будто их никогда и не было.

– Прежде не было?

– Лучше оставим это, – проговорил он с явным утомлением.

Меня тронула его горестная серьезность. Устыдясь своего эгоизма, я стал входить в его тон.

– Нынешнее время, – начал он сам, помолчав минуты две и все смотря куда-то в воздух, – нынешнее время – это время золотой середины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается; редко кто выжил бы себе идею.

Он опять оборвал и помолчал немного; я слушал.

– Нынче безлесья Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и приготавливают ее для калмыков. Явись человек с надеждой и посади дерево – все засмеются: «Разве ты до него доживешь?» С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут только бы с них достало...

– Позвольте, Крафт, вы сказали: «Забоятся о том, что будет через тысячу лет». Ну а ваше отчаяние... про участь России... разве это не в том же роде забота?

– Это... это – самый насущный вопрос, который только есть! – раздражительно проговорил он и быстро встал с места.

– Ах да! Я и забыл! – сказал он вдруг совсем не тем голосом, с недоумением смотря на меня, – я вас зазвал по делу и между тем... Ради бога, извините.

Он точно вдруг опомнился от какого-то сна, почти сконфузился; взял из портфеля, лежавшего на столе, письмо и подал мне.

– Вот что я имею вам передать. Это – документ, имеющий некоторую важность, – начал он со вниманием и с самым деловым видом. Меня, еще долго спустя, поражала потом, при воспоминании, эта способность его (в такие для него часы!) с таким сердечным вниманием отнестись к чужому делу, так спокойно и твердо рассказать его.

– Это – письмо того самого Столбева, по смерти которого из-за завещания его возникло дело Версилова с князьями Сокольскими. Дело это теперь решается в суде и решится, наверно, в пользу Версилова; за него закон. Между тем в письме этом, частном, писанном два года назад, завещатель сам излагает настоящую свою волю или, вернее, желание, излагает скорее в пользу князей, чем Версилова. По крайней мере те пункты, на которые опираются князья Сокольские, оспаривая завещание, получают сильную поддержку в этом письме. Противники Версилова много бы дали за этот документ, не имеющий, впрочем, решительного юридического значения. Алексей Никанорович (Андроников), занимавшийся делом Версилова, сохранял это письмо у себя и, незадолго до своей смерти, передал его мне с поручением «приберечь» – может быть, боялся за свои бумаги, предчувствуя смерть. Не желаю судить теперь о намерениях Алексея Никаноровича в этом случае и признаюсь, по смерти его я находился в некоторой тягостной нерешимости, что мне делать с этим документом, особенно ввиду близкого решения этого дела в суде. Но Марья Ивановна, которой Алексей Никанорович, кажется, очень много поверял при жизни, вывела меня из затруднения: она написала мне, три недели назад, решительно, чтоб я передал документ именно вам, и что это, *кажется* (ее выражение), совпадало бы и с волей Андроникова. Итак, вот документ, и я очень рад, что могу его наконец передать.

– Послушайте, – сказал я, озадаченный такою неожиданною новостью, – что же я буду теперь с этим письмом делать? Как мне поступить?

– Это уж в вашей воле.

– Невозможно, я ужасно несвободен, согласитесь сами! Версилов так ждал этого наследства... и, знаете, он погибнет без этой помощи – и вдруг существует такой документ!

– Он существует только здесь, в комнате.

– Неужели так? – посмотрел я на него внимательно.

– Если вы в этом случае сами не находите, как поступить, то что же я могу вам присоветовать?

– Но передать князю Сокольскому я тоже не могу: я убью все надежды Версилова и, кроме того, выйду перед ним изменником... С другой стороны, передав Версилу, я ввергну невинных в нищету, а Версилова все-таки ставлю в безвыходное положение: или отказаться от наследства, или стать вором.

– Вы слишком преувеличиваете значение дела.

– Скажите одно: имеет этот документ характер решительный, окончательный?

– Нет, не имеет. Я небольшой юрист. Адвокат противной стороны, разумеется, знал бы, как этим документом воспользоваться, и извлек бы из него всю пользу; но Алексей Никанорович находил положительно, что это письмо, будучи предъявлено, не имело бы большого юридического значения, так что дело Версилова могло бы быть все-таки выиграно. Скорее же этот документ представляет, так сказать, дело совести...

– Да вот это-то и важнее всего, – перебил я, – именно потому-то Версиров и будет в безвыходном положении.

– Он, однако, может уничтожить документ и тогда, напротив, избавит себя уже от всякой опасности.

– Имеете вы особые основания так полагать о нем, Крафт? Вот что я хочу знать: для того-то я и у вас!

– Я думаю, что всякий на его месте так бы поступил.

– И вы сами так поступили бы?

– Я не получаю наследства и потому про себя не знаю.

– Ну, хорошо, – сказал я, сунув письмо в карман. – Это дело пока теперь кончено. Крафт, послушайте. Марья Ивановна, которая, уверяю вас, многое мне открыла, сказала мне, что вы, и только один вы, могли бы передать истину о случившемся в Эмсе, полтора года назад, у Версилова с Ахмаковыми. Я вас ждал, как солнца, которое все у меня осветит. Вы не знаете моего положения, Крафт. Умоляю вас сказать мне всю правду. Я именно хочу знать, какой он человек, а теперь – теперь больше, чем когда-нибудь это надо!

– Я удивляюсь, как Марья Ивановна вам не передала всего сама; она могла обо всем слышать от покойного Андроникова и, разумеется, слышала и знает, может быть, больше меня.

– Андроников сам в этом деле путался, так именно говорит Марья Ивановна. Этого дела, кажется, никто не может распутать. Тут черт ногу переломит! Я же знаю, что вы тогда сами были в Эмсе...

– Я всего не застал, но что знаю, пожалуй, расскажу охотно, только удовлетворю ли вас?

II

Не привожу дословного рассказа, а приведу лишь вкратце сущность.

Полтора года назад Версиров, став через старого князя Сокольского другом дома Ахмаковых (все тогда находились за границей, в Эмсе), произвел сильное впечатление, во-первых, на самого Ахмакова, генерала и еще нестарого человека, но проигравшего все богатое приданое своей жены, Катерины Николаевны, в три года супружества в карты и от невоздержной жизни уже имевшего удар. Он от него очнулся и поправлялся за границей, а в Эмсе проживал для своей дочери, от первого своего брака. Это была болезненная девушка, лет семнадцати, страдавшая расстройством груди и, говорят, чрезвычайной красоты, а вместе с тем и фантастичности. Приданого у ней не было; надеялись, по обыкновению, на старого князя. Катерина Николаевна была, говорят, доброй мачехой. Но девушка почему-то особенно привязалась к Версирову. Он проповедовал тогда «что-то страстное», по выражению Крафта, какую-то новую жизнь, «был в религиозном настроении высшего смысла» – по странному, а может быть, и

насмешливому выражению Андроникова, которое мне было передано. Но замечательно, что его скоро все невзлюбили. Генерал даже боялся его; Крафт совершенно не отрицает слуха, что Версилов успел утвердить в уме больного мужа, что Катерина Николавна неравнодушна к молодому князю Сокольскому (отлучившемуся тогда из Эмса в Париж). Сделал же это не прямо, а, «по обыкновению своему», наветами, наведениями и всякими извилинами, «на что он великий мастер», выразился Крафт. Вообще же скажу, что Крафт считал его, и желал считать, скорее плутом и врожденным интриганом, чем человеком, действительно проникнутым чем-то высшим или хоть оригинальным. Я же знал и помимо Крафта, что Версилов, имев сперва чрезвычайное влияние на Катерину Николавну, мало-помалу дошел с нею до разрыва. В чем тут состояла вся эта игра, я и от Крафта не мог добиться, но о взаимной ненависти, возникшей между обоими после их дружбы, все подтверждали. Затем произошло одно странное обстоятельство: болезненная падчерица Катерины Николавны, по-видимому, влюбилась в Версилова, или чем-то в нем поразилась, или воспламенилась его речью, или уж я этого ничего не знаю; но известно, что Версилов одно время все почти дни проводил около этой девушки. Кончилось тем, что девица объявила вдруг отцу, что желает за Версилова замуж. Что это случилось действительно, это все подтверждают – и Крафт, и Андроников, и Марья Ивановна, и даже однажды проговорила об этом при мне Татьяна Павловна. Утверждали тоже, что Версилов не только сам желал, но даже и настаивал на браке с девушкой и что соглашение этих двух неоднородных существ, старого с малым, было обоюдное. Но отца эта мысль испугала; он, по мере отвращения от Катерины Николавны, которую прежде очень любил, стал чуть не боготворить свою дочь, особенно после удара. Но самой ожесточенной противницей возможности такого брака явилась сама Катерина Николавна. Произошло чрезвычайно много каких-то секретных, чрезвычайно неприятных семейных столкновений, споров, огорчений, одним словом, всяких гадостей. Отец начал наконец подаваться, видя упорство влюбленной и «фанатизированной» Версильевым дочери – выражение Крафта. Но Катерина Николавна продолжала восставать с неумолимой ненавистью. И вот здесь-то и начинается путаница, которую никто не понимает. Вот, однако, прямая догадка Крафта на основании данных, но все-таки лишь догадка.

Версилов будто бы успел внушить *по-своему*, тонко и неотразимо, молодой особе, что Катерина Николавна оттого не соглашается, что влюблена в него сама и уже давно мучит его ревностью, преследует его, интригует, объяснилась уже ему, и теперь готова сжечь его за то, что он полюбил другую; одним словом, что-то в этом роде. Сквернее всего тут то, что он будто бы «намекнул» об этом и отцу, мужу «неверной» жены, объясняя, что князь был только развлечением. Разумеется, в семействе начался целый ад. По иным вариантам, Катерина Николавна ужасно любила свою падчерицу и теперь, как оклеветанная перед нею, была в отчаянии, не говоря уже об отношениях к больному мужу. И что же, рядом с этим существует другой вариант, которому, к печали моей, вполне верил и Крафт и которому я и сам верил (обо всем этом я уже слышал). Утверждали (Андроников, говорят, слышал от самой Катерины Николавны), что, напротив, Версилов, прежде еще, то есть до начала чувств молодой девицы, предлагал свою любовь Катерине Николавне; что та, бывшая его другом, даже экзальтированная им некоторое время, но постоянно ему не верившая и противоречившая, встретила это объяснение Версильева с чрезвычайною ненавистью и ядовито осмеяла его. Выгнала же его формально от себя за то, что тот предложил ей прямо стать его женой ввиду близкого предполагаемого второго удара мужа. Таким образом, Катерина Николавна должна была почувствовать особенную ненависть к Версильеву, когда увидела потом, что он так открыто ищет уже руки ее падчерицы. Марья Ивановна, передавая все это мне в Москве, верила и тому и другому варианту, то есть всему вместе: она именно утверждала, что все это могло произойти совместно, что это вроде la

haine dans l'amour²³, оскорбленной любовной гордости с обеих сторон и т. д., и т. д., одним словом, что-то вроде какой-то тончайшей романической путаницы, недостойной всякого серьезного и здравомыслящего человека и, вдобавок, с подлостью. Но Марья Ивановна была и сама наспигована романами с детства и читала их день и ночь, несмотря на прекрасный характер. В результате выставлялась очевидная подлость Версилова, ложь и интрига, что-то черное и гадкое, тем более что кончилось действительно трагически: бедная воспламененная девушка отравилась, говорят, фосфорными спичками; впрочем, я даже и теперь не знаю, верен ли этот последний слух; по крайней мере его всеми силами постарались замять. Девушка была больна всего две недели и умерла. Спички остались, таким образом, под сомнением, но Крафт и им твердо верил. Затем умер вскорости и отец девушки, говорят, от горести, которая и вызвала второй удар, однако не раньше как через три месяца. Но после похорон девушки молодой князь Сокольский, возвратившийся из Парижа в Эмс, дал Версилу пощечину публично в саду и тот не ответил вызовом; напротив, на другой же день явился на променаде как ни в чем не бывало. Тут-то все от него и отвернулось, в Петербурге тоже. Версильов хоть и продолжал некоторое знакомство, но совсем в другом кругу. Из светского его знакомства все его обвинили, хотя, впрочем, мало кто знал обо всех подробностях; знали только нечто о романической смерти молодой особы и о пощечине. По возможности полные сведения имели только два-три лица; более всех знал покойный Андроников, имея уже давно деловые сношения с Ахмаковыми и особенно с Катериной Николавной по одному случаю. Но он хранил все эти секреты даже от семейства своего, а открыл лишь нечто Крафту и Марье Ивановне, да и то вследствие необходимости.

– Главное, тут теперь один документ, – заключил Крафт, – которого чрезвычайно боится госпожа Ахмакова.

И вот что он сообщил и об этом.

Катерина Николавна имела неосторожность, когда старый князь, отец ее, за границей стал уже выздоравливать от своего припадка, написать Андроникову в большом секрете (Катерина Николавна доверяла ему вполне) чрезвычайно компрометирующее письмо. В то время в выздоравливавшем князе действительно, говорят, обнаружилась склонность тратить и чуть не бросать свои деньги на ветер: за границей он стал покупать совершенно ненужные, но ценные вещи, картины, вазы; дарить и жертвовать на бог знает что большими кушами, даже на разные тамошние учреждения; у одного русского светского мота чуть не купил за огромную сумму, заглазно, разоренное и обремененное тяжбами имение; наконец, действительно будто бы начал мечтать о браке. И вот, ввиду всего этого, Катерина Николавна, не отходявшая от отца во время его болезни, и послала Андроникову, как юристу и «старому другу», запрос: «Возможно ли будет, по законам, объявить князя в опеке или вроде неспособного; а если так, то как удобнее это сделать без скандала, чтоб никто не мог обвинить и чтобы пощадить при этом чувства отца и т. д., и т. д.» Андроников, говорят, тогда же вразумил ее и отсоветовал; а впоследствии, когда князь выздоровел совсем, то и нельзя уже было воротиться к этой идее; но письмо у Андроникова осталось. И вот он умирает; Катерина Николавна тотчас вспомнила про письмо: если бы оно обнаружилось в бумагах покойного и попало в руки старого князя, то тот несомненно прогнал бы ее навсегда, лишил наследства и не дал бы ей ни копейки при жизни. Мысль, что родная дочь не верит в его ум и даже хотела объявить его сумасшедшим, обратила бы этого агнца в зверя. Она же, овдовев, осталась, по милости игрока мужа, без всяких средств и на одного только отца и рассчитывала: она вполне надеялась получить от него новое приданое, столь же богатое, как и первое!

Крафт об участии этого письма знал очень мало, но заметил, что Андроников «никогда не рвал нужных бумаг» и, кроме того, был человек хоть и широкого ума, но и «широкой сове-

²³ Ненависти в любви (фр.).

сти». (Я даже подивился тогда такой чрезвычайной самостоятельности взгляда Крафта, столь любившего и уважавшего Андроникова.) Но Крафт имел все-таки уверенность, что компрометирующий документ будто бы попался в руки Версилова через близость того со вдовой и с дочерьми Андроникова; уже известно было, что они тотчас же и обязательно предоставили Версилу все бумаги, оставшиеся после покойного. Знал он тоже, что и Катерине Николаевне уже известно, что письмо у Версилова и что она этого-то и боится, думая, что Версилу тотчас пойдет с письмом к старому князю; что, возвратясь из-за границы, она уже искала письмо в Петербурге, была у Андрониковых и теперь продолжает искать, так как все-таки у нее оставалась надежда, что письмо, может быть, не у Версилова, и, в заключение, что она и в Москву ездила единственно с этою же целью и умоляла там Марью Ивановну поискать в тех бумагах, которые сохранялись у ней. О существовании Марьи Ивановны и об ее отношениях к покойному Андроникову она провела весьма недавно, уже возвратясь в Петербург.

– Вы думаете, она не нашла у Марьи Ивановны? – спросил я, имея свою мысль.

– Если Марья Ивановна не открыла ничего даже вам, то, может быть, у ней и нет ничего.

– Значит, вы полагаете, что документ у Версилова?

– Вероятнее всего, что да. Впрочем, не знаю, все может быть, – промолвил он с видимым утомлением.

Я перестал расспрашивать, да и к чему? Все главное для меня прояснилось, несмотря на всю эту недостойную путаницу; все, чего я боялся, – подтвердилось.

– Все это как сон и бред, – сказал я в глубокой грусти к взялся за шляпу.

– Вам очень дорог этот человек? – спросил Крафт с видимым и большим участием, которое я прочел на его лице в ту минуту.

– Я так и предчувствовал, – сказал я, – что от вас все-таки не узнаю вполне. Остается одна надежда на Ахмакову. На нее-то я и надеялся. Может быть, пойду к ней, а может быть, нет.

Крафт посмотрел с некоторым недоумением.

– Прощайте, Крафт! Зачем лезть к людям, которые вас не хотят? Не лучше ли все порвать, – а?

– А потом куда? – спросил он как-то сурово и смотря в землю.

– К себе, к себе! Все порвать и уйти к себе!

– В Америку?

– В Америку! К себе, к одному себе! Вот в чем вся «моя идея», Крафт! – сказал я восторженно.

Он как-то любопытно посмотрел на меня.

– А у вас есть это место: «к себе»?

– Есть. До свиданья, Крафт; благодарю вас и жалею, что вас утрудил! Я бы, на вашем месте, когда у самого такая Россия в голове, всех бы к черту отправлял: убирайтесь, интригуйте, грызйтесь про себя – мне какое дело!

– Посидите еще, – сказал он вдруг, уже проводив меня до входной двери.

Я немного удивился, воротился и опять сел. Крафт сел напротив. Мы обменялись какими-то улыбками, все это я как теперь вижу. Очень помню, что мне было как-то удивительно на него.

– Мне в вас нравится, Крафт, то, что вы – такой вежливый человек, – сказал я вдруг.

– Да?

– Я потому, что сам редко умею быть вежливым, хоть и хочу уметь... А что ж, может, и лучше, что оскорбляют люди: по крайней мере избавляют от несчастья любить их.

– Какой вы час во дню больше любите? – спросил он, очевидно меня не слушая.

– Час? Не знаю. Я закат не люблю.

– Да? – произнес он с каким-то особенным любопытством, но тотчас опять задумался.

– Вы куда-то опять уезжаете?

– Да... уезжаю.

– Скоро?

– Скоро.

– Неужели, чтоб доехать до Вильно, револьвер нужен? – спросил я вовсе без малейшей задней мысли: и мысли даже не было! Так спросил, потому что мелькнул револьвер, а я тяготился, о чем говорить.

Он обернулся и посмотрел на револьвер пристально.

– Нет, это я так, по привычке.

– Если б у меня был револьвер, я бы прятал его куда-нибудь под замок. Знаете, ей-богу, соблазнительно! Я, может быть, и не верю в эпидемию самоубийств, но если торчит вот это перед глазами – право, есть минуты, что и соблазнит.

– Не говорите об этом, – сказал он и вдруг встал со стула.

– Я не про себя, – прибавил я, тоже вставая, – я не употреблю. Мне хоть три жизни дайте – мне и тех будет мало.

– Живите больше, – как бы вырвалось у него.

Он рассеянно улыбнулся и, странно, прямо пошел в переднюю, точно выводя меня сам, разумеется не замечая, что делает.

– Желаю вам всякой удачи, Крафт, – сказал я, уже выходя на лестницу.

– Это пожалуй, – твердо отвечал он.

– До свиданья!

– И это пожалуй.

Я помню его последний на меня взгляд.

III

Итак, вот человек, по котором столько лет билось мое сердце! И чего я ждал от Крафта, каких это новых сообщений?

Выйдя от Крафта, я сильно захотел есть; наступал уже вечер, а я не обедал. Я вошел тут же на Петербургской, на Большом проспекте, в один мелкий трактир, с тем чтоб истратить копеек двадцать и не более двадцати пяти – более я бы тогда ни за что себе не позволил. Я взял себе супу и, помню, съев его, сел глядеть в окно; в комнате было много народу, пахло пригорелым маслом, трактирными салфетками и табаком. Гадко было. Над головой моей тюкал носом о дно своей клетки безголосый соловей, мрачный и задумчивый. В соседней бильярдной шумели, но я сидел и сильно думал. Закат солнца (почему Крафт удивился, что я не люблю заката?) навел на меня какие-то новые и неожиданные ощущения совсем не к месту. Мне все мерещился тихий взгляд моей матери, ее милые глаза, которые вот уже весь месяц так робко ко мне приглядывались. В последнее время я дома очень грубил, ей преимущественно; желал грубить Версилкову, но, не смея ему, по подлому обычаю моему, мучил ее. Даже совсем запугал: часто она таким умоляющим взглядом смотрела на меня при входе Андрея Петровича, боясь с моей стороны какой-нибудь выходки... Очень странно было то, что я теперь, в трактире, в первый раз сообразил, что Версилков мне говорит *ты*, а она – *вы*. Удивлялся я тому и прежде, и не в ее пользу, а тут как-то особенно сообразил – и все странные мысли, одна за другой, текли в голову. Я долго просидел на месте, до самых полных сумерек. Думал и об сестре...

Минута для меня роковая. Во что бы ни стало надо было решиться! Неужели я не способен решиться? Что трудного в том, чтоб порвать, если к тому же и сами не хотят меня? Мать и сестра? Но их-то я ни в каком случае не оставлю – как бы ни обернулось дело.

Это правда, что появление этого человека в жизни моей, то есть на миг, еще в первом детстве, было тем фатальным толчком, с которого началось мое сознание. Не встретиться он

мне тогда – мой ум, мой склад мыслей, моя судьба, наверно, были бы иные, несмотря даже на predetermined мне судьбою характер, которого я бы все-таки не избегнул.

Но ведь оказывается, что этот человек – лишь мечта моя, мечта с детских лет. Это я сам его таким выдумал, а на деле оказался другой, упавший столь ниже моей фантазии. Я приехал к человеку чистому, а не к этому. И к чему я влюбился в него, раз навсегда, в ту маленькую минутку, как увидел его когда-то, бывши ребенком? Это «навсегда» должно исчезнуть. Я когда-нибудь, если место найдется, опишу эту первую встречу нашу: это пустейший анекдот, из которого ровно ничего не выходит. Но у меня вышла целая пирамида. Я начал эту пирамиду еще под детским одеялом, когда, засыпая, мог плакать и мечтать – о чем? – сам не знаю. О том, что меня оставили? О том, что меня мучат? Но мучили меня лишь немножко, всего только два года, в пансионе Тушара, в который он меня тогда сунул и уехал навсегда. Потом меня никто не мучил; даже напротив, я сам гордо смотрел на товарищей. Да и терпеть я не могу этого ноющего по себе сиротства! Ничего нет омерзительнее роли, когда сироты, незаконнорожденные, все эти выброшенные и вообще вся эта дрянь, к которым я нисколько вот-таки не имею жалости, вдруг торжественно воздвигаются перед публикой и начинают жалобно, но наставительно завывать: «Вот, дескать, как поступили с нами!» Я бы сек этих сирот. Никто-то не поймет из этой гнусной казенщины, что в десять раз ему благороднее смолчать, а не выть и не *удостоивать* жаловаться. А коли начал удостоивать, то так тебе, сыну любви, и надо. Вот моя мысль!

Но не то смешно, когда я мечтал прежде «под одеялом», а то, что и приехал сюда для него же, опять-таки для этого выдуманного человека, почти забыв мои главные цели. Я ехал помочь ему сокрушить клевету, раздавить врагов. Тот документ, о котором говорил Крафт, то письмо этой женщины к Андроникову, которого так боится она, которое может сокрушить ее участь и свергнуть ее в нищету и которое она предполагает у Версилова, – это письмо было не у Версилова, а у меня, зашито в моем боковом кармане! Я сам и зашивал, и никто во всем мире еще не знал об этом. То, что романическая Марья Ивановна, у которой документ находился «на сохранении», нашла нужным передать его мне, и никому иному, то были лишь ее взгляд и ее воля, и объяснять это я не обязан; может быть, когда-нибудь к слову и расскажу; но столь неожиданно вооруженный, я не мог не соблазниться желанием явиться в Петербург. Конечно, я полагал помочь этому человеку не иначе как втайне, не выставясь и не горячась, не ожидая ни похвал, ни объятий его. И никогда, никогда бы я не *удостоил* попрекнуть его чем-нибудь! Да и вина ли его в том, что я влюбился в него и создал из него фантастический идеал? Да я даже, может быть, вовсе и не любил его! Его оригинальный ум, его любопытный характер, какие-то там его интриги и приключения и то, что была при нем моя мать, – все это, казалось, уже не могло бы остановить меня; довольно было и того, что моя фантастическая кукла разбита и что я, может быть, уже не могу любить его больше. Итак, что же останавливало меня, на чем я завяз? – вот вопрос. В итоге выходило, что глуп только я, а более никто.

Но, требуя честности от других, буду честен и сам: я должен сознаться, что зашитый в кармане документ возбуждал во мне не одно только страстное желание лететь на помощь Версилону. Теперь для меня это уж слишком ясно, хоть я и тогда уже краснел от мысли. Мне мерещилась женщина, гордое существо высшего света, с которою я встречу лицом к лицу; она будет презирать меня, смеяться надо мной, как над мышью, даже и не подозревая, что я властелин судьбы ее. Эта мысль пьянила меня еще в Москве, и особенно в вагоне, когда я сюда ехал; я признался уже в этом выше. Да, я ненавидел эту женщину, но уже любил ее как мою жертву, и все это правда, все было действительно. Но уж это было такое детство, которого я даже и от такого, как я, не ожидал. Я описываю тогдашние мои чувства, то есть то, что мне шло в голову тогда, когда я сидел в трактире под соловьем и когда порешил в тот же вечер разорвать с ними неминуемо. Мысль о давешней встрече с этой женщиной залила вдруг тогда краской стыда мое лицо. Позорная встреча! Позорное и глупенькое впечатленье и – главное – сильнее всего доказавшее мою неспособность к делу! Оно доказывало лишь то,

думал я тогда, что я не в силах устоять даже и пред глупейшими приманками, тогда как сам же сказал сейчас Крафту, что у меня есть «свое место», есть свое дело и что если б у меня было три жизни, то и тогда бы мне было их мало. Я гордо сказал это. То, что я бросил мою идею и затянулся в дела Версилова, – это еще можно было бы чем-нибудь извинить; но то, что я бросаюсь, как удивленный заяц, из стороны в сторону и затягиваюсь уже в каждые пустяки, в том, конечно, одна моя глупость. На какой ляд дернуло меня идти к Дергачеву и выскочить с моими глупостями, давно зная за собой, что ничего не сумею рассказать умно и толково и что мне всего выгоднее молчать? И какой-нибудь Васин вразумляет меня тем, что у меня еще «пятьдесят лет жизни впереди и, стало быть, тужить не о чем». Возражение его прекрасно, я согласен, и делает честь его бесспорному уму; прекрасно уже тем, что самое простое, а самое простое понимается всегда лишь под конец, когда уж перепробовано все, что мудреней или глупей; но я знал это возражение и сам, раньше Васина; эту мысль я прочувствовал с лишком три года назад; даже мало того, в ней-то и заключается отчасти «моя идея». Вот что я думал тогда в трактире.

Гадко мне было, когда, усталый и от ходьбы и от мысли, добрался я вечером, часу уже в восьмом, в Семеновский полк. Совсем уже стемнело, и погода переменялась; было сухо, но подымался скверный петербургский ветер, язвительный и острый, мне в спину, и взвевал кругом пыль и песок. Сколько угрюмых лиц простонародья, торопливо возвращавшегося в углы свои с работы и промыслов! У всякого своя угрюмая забота на лице и ни одной-то, может быть, общей, всесоединяющей мысли в этой толпе! Крафт прав: все врознь. Мне встретился маленький мальчик, такой маленький, что странно, как он мог в такой час очутиться один на улице; он, кажется, потерял дорогу; одна баба остановилась было на минуту его выслушать, но ничего не поняла, развела руками и пошла дальше, оставив его одного в темноте. Я подошел было, но он с чего-то вдруг меня испугался и побежал дальше. Подходя к дому, я решил, что я к Васину никогда не пойду. Когда я всходил на лестницу, мне ужасно захотелось застать наших дома одних, без Версилова, чтоб успеть сказать до его прихода что-нибудь доброе матери или милой моей сестре, которой я в целый месяц не сказал почти ни одного особенного слова. Так и случилось, что его не было дома...

IV

А кстати: выводя в «Записках» это «новое лицо» на сцену (то есть я говорю про Версилова), приведу вкратце его формулярный список, ничего, впрочем, не означающий. Я это, чтобы было понятнее читателю и так как не предвижу, куда бы мог приткнуть этот список в дальнейшем течении рассказа.

Он учился в университете, но поступил в гвардию, в кавалерийский полк. Женился на Фанариотовой и вышел в отставку. Ездил за границу и, воротясь, жил в Москве в светских удовольствиях. По смерти жены прибыл в деревню; тут эпизод с моей матерью. Потом долго жил где-то на юге. В войну с Европой поступил опять в военную службу, но в Крым не попал и все время в деле не был. По окончании войны, выйдя в отставку, ездил за границу, и даже с моею матерью, которую, впрочем, оставил в Кёнигсберге. Бедная рассказывала иногда с каким-то ужасом и качая головой, как она прожила тогда целые полгода, одна-одинешенька, с маленькой дочерью, не зная языка, точно в лесу, а под конец и без денег. Тогда приехала за нею Татьяна Павловна и отвезла ее назад, куда-то в Нижегородскую губернию. Потом Версильов вступил в мировые посредники первого призыва и, говорят, прекрасно исполнял свое дело; но вскоре кинул его и в Петербурге стал заниматься ведением разных частных гражданских исков. Андроников всегда высоко ставил его способности, очень уважал его и говорил лишь, что не понимает его характера. Потом Версильов и это бросил и опять уехал за границу, и уже на долгий срок, на несколько лет. Затем начались особенно близкие связи с стариком князем

Сокольским. Во все это время денежные средства его изменялись раза два-три радикально: то совсем впадал в нищету, то опять вдруг богател и подымался.

А впрочем, теперь, доведя мои записки именно до этого пункта, я решаюсь рассказать и «мою идею». Опишу ее в словах, в первый раз с ее зарождения. Я решаюсь, так сказать, открыть ее читателю, и тоже для ясности дальнейшего изложения. Да и не только читатель, а и сам я, сочинитель, начинаю путаться в трудности объяснить шаги мои, не объяснив, что вело и наталкивало меня на них. Этою «фигурою умолчания» я, от неумения моего, впал опять в те «красоты» романистов, которые сам осмеял выше. Входя в дверь моего петербургского романа со всеми позорными моими в нем приключениями, я нахожу это предисловие необходимым. Но не «красоты» соблазнили меня умолчать до сих пор, а и сущность дела, то есть трудность дела; даже теперь, когда уже прошло все прошедшее, я ощущаю непреодолимую трудность рассказать эту «мысль». Кроме того, я, без сомнения, должен изложить ее в ее тогдашней форме, то есть как она сложилась и мыслилась у меня тогда, а не теперь, а это уже новая трудность. Рассказывать иные вещи почти невозможно. Именно те идеи, которые всех проще, всех яснее, – именно те-то и трудно понять. Если б Колумб перед открытием Америки стал рассказывать свою идею другим, я убежден, что его бы ужасно долго не поняли. Да и не понимали же. Говоря это, я вовсе не думаю равнять себя с Колумбом, и если кто выведет это, тому будет стыдно и больше ничего.

Глава пятая

I

Моя идея – это статья Ротшильдом. Я приглашаю читателя к спокойствию и к серьезности.

Я повторяю: моя идея – это статья Ротшильдом, статья так же богатым, как Ротшильд; не просто богатым, а именно как Ротшильд. Для чего, зачем, какие я именно преследую цели – об этом будет после. Сперва лишь докажу, что достижение моей цели обеспечено математически.

Дело очень простое, вся тайна в двух словах: *упорство* и *непрерывность*.

– Слышали, – скажут мне, – не новость. Всякий фатер в Германии повторяет это своим детям, а между тем ваш Ротшильд (то есть покойный Джеймс Ротшильд, парижский, я о нем говорю) был всего только один, а фатеров миллионы.

Я ответил бы:

– Вы уверяете, что слышали, а между тем вы ничего не слышали. Правда, в одном и вы справедливы: если я сказал, что это дело «очень простое», то забыл прибавить, что и самое трудное. Все религии и все нравственности в мире сводятся на одно: «Надо любить добродетель и убегать пороков». Чего бы, кажется, проще? Ну-тка, сделайте-ка что-нибудь добродетельное и уберите хоть одного из ваших пороков, попробуйте-ка, – а? Так и тут.

Вот почему бесчисленные ваши фатеры в течение бесчисленных веков могут повторять эти удивительные два слова, составляющие весь секрет, а между тем Ротшильд остается один. Значит: то, да не то, и фатеры совсем не ту мысль повторяют.

Про упорство и непрерывность, без сомнения, слышали и они; но для достижения моей цели нужны не фатерское упорство и не фатерская непрерывность.

Уж одно слово, что он фатер, – я не об немцах одних говорю, – что у него семейство, он живет как и все, расходы как и у всех, обязанности как и у всех, – тут Ротшильдом не сделаешься, а станешь только умеренным человеком. Я же слишком ясно понимаю, что, став Ротшильдом или даже только пожелав им стать, но не по-фатерски, а серьезно, – я уже тем самым разом выхожу из общества.

Несколько лет назад я прочел в газетах, что на Волге, на одном из пароходов, умер один нищий, ходивший в отрепье, просивший милостыню, всем там известный. У него, по смерти его, нашли зашитыми в его рубище до трех тысяч кредитными билетами. На днях я опять читал про одного нищего, из благородных, ходившего по трактирам и протягивавшего там руку. Его арестовали и нашли при нем до пяти тысяч рублей. Отсюда прямо два вывода: первый – *упорство* в накоплении, даже копеечными суммами, впоследствии дает громадные результаты (время тут ничего не значит), и второй – что самая нехитрая форма наживания, но лишь *непрерывная* – обеспечена в успехе математически.

Между тем есть, может быть, и очень довольно людей почтенных, умных и воздержных, но у которых (как ни бьются они) нет ни трех, ни пяти тысяч и которым, однако, ужасно бы хотелось иметь их. Почему это так? Ответ ясный: потому что ни один из них, несмотря на все их хотенье, все-таки не до такой степени *хочет*, чтобы, например, если уж никак нельзя иначе нажить, то стать даже и нищим; и не до такой степени упорен, чтобы, даже и став нищим, не растратить первых же полученных копеек на лишний кусок себе или своему семейству. Между тем при этом способе накопления, то есть при нищенстве, нужно питаться, чтобы скопить такие деньги, хлебом с солью и более ничем; по крайней мере я так понимаю. Так, наверно, делали и вышеозначенные двое нищих, то есть ели один хлеб, а жили чуть не под открытым небом. Сомнения нет, что намерения стать Ротшильдом у них не было: это были лишь Гарпагоны или Плюшкины в чистейшем их виде, не более; но и при сознательном наживании уже в

совершенно другой форме, но с целью стать Ротшильдом, – потребуется не меньше хотения и силы воли, чем у этих двух нищих. Фатер такой силы не окажет. На свете силы многообразны, силы воли и хотения особенно. Есть температура кипения воды и есть температура красного каления железа.

Тут тот же монастырь, те же подвиги схимничества. Тут чувство, а не идея. Для чего? Зачем? Нравственно ли это и не уродливо ли ходить в дерюге и есть черный хлеб всю жизнь, таская на себе такие деньжища? Эти вопросы потом, а теперь только о возможности достижения цели.

Когда я выдумал «мою идею» (а в красном-то каленье она и состоит), я стал себя пробовать: способен ли я на монастырь и на схимничество? С этою целью я целый первый месяц ел только один хлеб с водой. Черного хлеба выходило не более двух с половиною фунтов ежедневно. Чтобы исполнить это, я должен был обманывать умного Николая Семеновича и желавшую мне добра Марью Ивановну. Я настоял на том, к ее огорчению и к некоторому недоумению деликатнейшего Николая Семеновича, чтобы обед приносили в мою комнату. Там я просто истреблял его: суп выливал в окно в крапиву или в одно другое место, говядину – или кидал в окно собаке, или, завернув в бумагу, клал в карман и выносил потом вон, ну и все прочее. Так как хлеба к обеду подавали гораздо менее двух с половиною фунтов, то потихоньку хлеб прикупал от себя. Я этот месяц выдержал, может быть только несколько расстроил желудок; но с следующего месяца я прибавил к хлебу суп, а утром и вечером по стакану чаю – и, уверяю вас, так провел год в совершенном здоровье и довольстве, а нравственно – в упоении и в непрерывном тайном восхищении. Я не только не жалел о кушаньях, но был в восторге. По окончании года, убедившись, что я в состоянии выдержать какой угодно пост, я стал есть, как и они, и перешел обедать с ними вместе. Не удовлетворившись этой пробой, я сделал и вторую: на карманные расходы мои, кроме содержания, уплачиваемого Николаю Семеновичу, мне полагалось ежемесячно по пяти рублей. Я положил из них тратить лишь половину. Это было очень трудное испытание, но через два с лишком года, при приезде в Петербург, у меня в кармане, кроме других денег, было семьдесят рублей, накопленных единственно из этого сбережения. Результат двух этих опытов был для меня громадный: я узнал положительно, что могу настолько хотеть, что достигну моей цели, а в этом, повторяю, вся «моя идея»; дальнейшее – все пустяки.

II

Однако рассмотрим и пустяки.

Я описал мои два опыта; в Петербурге, как известно уже, я сделал третий – сходил на аукцион и, за один удар, взял семь рублей девяносто пять копеек барыша. Конечно, это был не настоящий опыт, а так лишь – игра, утеха: захотелось выкрасть минутку из будущего и попытаться, как это я буду ходить и действовать. Вообще же настоящий приступ к делу у меня был отложен, еще с самого начала, в Москве, до тех пор пока я буду совершенно свободен; я слишком понимал, что мне надо было хотя бы, например, сперва кончить с гимназией. (Университетом, как уже известно, я пожертвовал.) Бесспорно, я ехал в Петербург с затаенным гневом: только что я сдал гимназию и стал в первый раз свободным, я вдруг увидел, что дела Версилова вновь отвлекут меня от начала дела на неизвестный срок! Но хоть и с гневом, а я все-таки ехал совершенно спокойный за цель мою.

Правда, я не знал практики; но я три года сряду обдумывал и сомнений иметь не мог. Я воображал тысячу раз, как я приступлю: я вдруг очутываюсь, как с неба спущенный, в одной из двух столиц наших (я выбрал для начала наши столицы, и именно Петербург, которому, по некоторому расчету, отдал преимущество); итак, я спущен с неба, но совершенно свободный, ни от кого не завишу, здоров и имею затаенных в кармане сто рублей для первоначаль-

ного оборотного капитала. Без ста рублей начинать невозможно, так как на слишком уже долгий срок отдалился бы даже самый первый период успеха. Кроме ста рублей у меня, как уже известно, мужество, упорство, непрерывность, полнейшее уединение и тайна. Уединение – главное: я ужасно не любил до самой последней минуты никаких сношений и ассоциаций с людьми; говоря вообще, начать «идею» я непременно положил один, это *sine qua*²⁴. Люди мне тяжелы, и я был бы беспокоен духом, а беспокойство вредило бы цели. Да и вообще до сих пор, во всю жизнь, во всех мечтах моих о том, как я буду обращаться с людьми, – у меня всегда выходило очень умно; чуть же на деле – всегда очень глупо. И признаюсь в этом с негодованием и искренно, я всегда выдавал себя сам словами и торопился, а потому и решился сократить людей. В выигрыше – независимость, спокойствие духа, ясность цели.

Несмотря на ужасные петербургские цены, я определил раз навсегда, что более пятнадцати копеек на еду не истрочу, и знал, что слово сдержу. Этот вопрос об еде я обдумывал долго и обстоятельно; я положил, например, иногда по два дня сряду есть один хлеб с солью, но с тем чтобы на третий день истратить сбережения, сделанные в два дня; мне казалось, что это будет выгоднее для здоровья, чем вечный ровный пост на минимуме в пятнадцать копеек. Затем, для житья моего мне нужен был угол, угол буквально, единственно чтобы выспаться ночью или укрыться уже в слишком ненастный день. Жить я положил на улице, и за нужду я готов был ночевать в ночлежных приютах, где, сверх ночлега, дают кусок хлеба и стакан чаю. О, я слишком сумел бы спрятать мои деньги, чтобы их у меня в угле или в приюте не украли; и не подглядели бы даже, ручаюсь! «У меня-то украдут? Да я сам боюсь, у кого б не украсть», – слышал я раз это веселое слово на улице от одного проходимца. Конечно, я к себе из него применяю лишь одну осторожность и хитрость, а воровать не намерен. Мало того, еще в Москве, может быть с самого первого дня «идеи», порешил, что ни закладчиком, ни процентщиком тоже не буду: на это есть жида да те из русских, у кого ни ума, ни характера. Заклад и процент – дело ординарности.

Что касается до одежды, то я положил иметь два костюма: расхожий и порядочный. Раз заведя, я был уверен, что проношу долго; я два с половиной года нарочно учился носить платье и открыл даже секрет: чтобы платье было всегда ново и не изнашивалось, надо чистить его щеткой сколь возможно чаще, раз по пяти и шести в день. Щетки сукно не боится, говорю достоверно, а боится пыли и сору. Пыль – это те же камни, если смотреть в микроскоп, а щетка, как ни тверда, все та же почти шерсть. Равномерно выучился я и сапоги носить: тайна в том, что надо с оглядкой ставить ногу всей подошвой разом, как можно реже сбиваясь набок. Выучиться этому можно в две недели, далее уже пойдет бессознательно. Этим способом сапоги носятся, в среднем выводе, на треть времени дольше. Опыт двух лет.

Затем начиналась уже самая деятельность.

Я шел из такого соображения: у меня сто рублей. В Петербурге же столько аукционов, распродаж, мелких лавочек на Толкучем и нуждающихся людей, что невозможно, купив вещь за столько-то, не продать ее несколько дороже. За альбом я взял семь рублей девяносто пять копеек барыша на два рубля пять копеек затраченного капитала. Этот огромный барыш взят был без риска: я по глазам видел, что покупатель не отступится. Разумеется, я слишком понижаю, что это только случай; но ведь таких-то случаев я и ищу, для того-то и порешил жить на улице. Ну пусть эти случаи даже слишком редки; все равно, главным правилом будет у меня – не рисковать ничем, и второе – непременно в день хоть сколько-нибудь нажить сверх минимума, истраченного на мое содержание, для того чтобы ни единого дня не прерывалось накопление.

Мне скажут: все это мечты, вы не знаете улицы, и вас с первого шага надуют. Но я имею волю и характер, а уличная наука есть наука, как и всякая, она дается упорству, внима-

²⁴ Непременное условие (*лат.*).

нию и способностям. В гимназии я до самого седьмого класса был из первых, я был очень хорош в математике. Ну можно ли до такой кумирной степени превозносить опыт и уличную науку, чтобы непременно предсказывать неудачу! Это всегда только те говорят, которые никогда никакого опыта ни в чем не делали, никакой жизни не начинали и прозябали на готовом. «Один расшиб нос, так непременно и другой расшибет его». Нет, не расшибу. У меня характер, и при внимании я всему выучусь. Ну есть ли возможность представить себе, что при непрерывном упорстве, при непрерывной зоркости взгляда и непрерывном обдумывании и расчете, при беспредельной деятельности и беготне, вы не дойдете наконец до знания, как ежедневно нажить лишний двугривенный? Главное, я порешил никогда не бить на максимум барыша, а всегда быть спокойным. Там, дальше, уже нажив тысячу и другую, я бы, конечно, и невольно вышел из факторства и уличного перекупства. Мне, конечно, слишком мало еще известны биржа, акции, банкирское дело и все прочее. Но, взамен того, мне известно как пять моих пальцев, что все эти биржи и банкирства я узнаю и изучу в свое время, как никто другой, и что наука эта явится совершенно просто, потому только, что до этого дойдет дело. Ума, что ли, тут так много надо? Что за Соломонова такая премудрость! Был бы только характер; умение, ловкость, знание придут сами собою. Только бы не переставалось «хотеть».

Главное, не рисковать, а это именно возможно только лишь при характере. Еще недавно была, при мне уже, в Петербурге одна подписка на железнодорожные акции; те, которым удалось подписаться, нажили много. Некоторое время акции шли в гору. И вот вдруг не успевший подписаться или жадный, видя акции у меня в руках, предложил бы их продать ему, за столько-то процентов премии. Что ж, я непременно бы и тотчас же продал. Надо мной бы, конечно, стали смеяться: дескать, подождали бы, в десять бы раз больше взяли. Так-с, но моя премия вернее уже тем, что в кармане, а ваша-то еще летает. Скажут, что этак много не наживешь; извините, тут-то и ваша ошибка, ошибка всех этих наших Кокоревых, Поляковых, Губонинных. Узнайте истину: непрерывность и упорство в наживании и, главное, в накоплении сильнее моментальных выгод даже хотя бы и в сто на сто процентов!

Незадолго до французской революции явился в Париже некто Лоу и затеял один, в принципе гениальный, проект (который потом на деле ужасно лопнул). Весь Париж взволновался; акции Лоу покупались нарасхват, до давки. В дом, в котором была открыта подписка, сыпались деньги со всего Парижа как из мешка; но и дома наконец не достало: публика толпилась на улице – всех званий, состояний, возрастов; буржуа, дворяне, дети их, графини, маркизы, публичные женщины – все сбилось в одну яростную, полусумасшедшую массу укушенных бешеной собакой; чины, предрассудки породы и гордости, даже честь и доброе имя – все стопталось в одной грязи; всем жертвовали (даже женщины), чтобы добыть несколько акций. Подписка перешла наконец на улицу, но негде было писать. Тут одному горбуну предложили уступить на время свой горб, в виде стола для подписки на нем акций. Горбун согласился – можно представить, за какую цену! Некоторое время спустя (очень малое) все обанкрутилось, все лопнуло, вся идея полетела к черту, и акции потеряли всякую цену. Кто ж выиграл? Один горбун, именно потому, что брал не акции, а наличные луидоры. Ну-с, я вот и есть тот самый горбун! У меня достало же силы не есть и из копеек скопить семьдесят два рубля; достанет и настолько, чтобы и в самом вихре горячки, всех охватившей, удержаться и предпочесть верные деньги большим. Я мелочен лишь в мелочах, но в великом – нет. На малое терпение у меня часто не доставало характера, даже и после зарождения «идеи», а на большое – всегда достанет. Когда мне мать подавала утром, перед тем как мне идти на службу, простылый кофе, я сердился и грубил ей, а между тем я был тот самый человек, который прожил весь месяц только на хлебе и на воде.

Одним словом, не нажить, не выучиться, как нажить, – было бы неестественно. Неестественно тоже при непрерывном и ровном накоплении, при непрерывной приглядке и трезвости мысли, воздержности, экономии, при энергии, всё возрастающей, неестественно, повторяю я, не стать и миллионщиком. Чем нажил нищий свои деньги, как не фанатизмом характера и

упорством? Неужели я хуже нищего? «А наконец, пусть я не достигну ничего, пусть расчет неверен, пусть лопну и провалюсь, все равно – я иду. Иду потому, что так хочу». Вот что я говорил еще в Москве.

Мне скажут, что тут нет никакой «идеи» и ровнешенько ничего нового. А я скажу, и уже в последний раз, что тут бесчисленно много идеи и бесконечно много нового.

О, я ведь предчувствовал, как тривиальны будут все возражения и как тривиален буду я сам, излагая «идею»: ну что я высказал? Сотой доли не высказал; я чувствую, что вышло мелко, грубо, поверхностно и даже как-то моложе моих лет.

III

Остаются ответы на «зачем» и «почему», «нравственно или нет» и пр., и пр., на это я обещал ответить.

Мне грустно, что разочарую читателя сразу, грустно, да и весело. Пусть знают, что ровно никакого-таки чувства «мести» нет в целях моей «идеи», ничего байроновского – ни проклятия, ни жалоб сиротства, ни слез незаконнорожденности, ничего, ничего. Одним словом, романтическая дама, если бы ей попались мои записки, тотчас повесила бы нос. Вся цель моей «идеи» – уединение.

– Но уединения можно достигнуть вовсе не топорщась стать Ротшильдом. К чему тут Ротшильд?

– А к тому, что кроме уединения мне нужно и могущество.

Сделаю предисловие: читатель, может быть, ужаснется откровенности моей исповеди и простодушно спросит себя: как это не краснел сочинитель? Отвечу, я пишу не для издания; читателя же, вероятно, буду иметь разве через десять лет, когда все уже до такой степени обобщится, пройдет и докажется, что краснеть уж нечего будет. А потому, если я иногда обращаюсь в записках к читателю, то это только прием. Мой читатель – лицо фантастическое.

Нет, не незаконнорожденность, которою так дразнили меня у Тушара, не детские грустные годы, не месть и не право протеста явились началом моей «идеи»; вина всему – один мой характер. С двенадцати лет, я думаю, то есть почти с зарождения правильного сознания, я стал не любить людей. Не то что не любить, а как-то стали они мне тяжелы. Слишком мне грустно было иногда самому, в чистые минуты мои, что я никак не могу всего высказать даже близким людям, то есть и мог бы, да не хочу, почему-то удерживаюсь; что я недоверчив, угрюм и несообщителен. Опять-таки, я давно уже заметил в себе черту, чуть не с детства, что слишком часто обвиняю, слишком склонен к обвинению других; но за этой склонностью весьма часто немедленно следовала другая мысль, слишком уже для меня тяжелая: «Не я ли сам виноват вместо них?» И как часто я обвинял себя напрасно! Чтоб не разрешать подобных вопросов, я, естественно, искал уединения. К тому же и не находил ничего в обществе людей, как ни старался, а я старался; по крайней мере все мои однолетки, все мои товарищи, все до одного, оказывались ниже меня мыслями; я не помню ни единого исключения.

Да, я сумрачен, я беспрерывно закрываюсь. Я часто желаю выйти из общества. Я, может быть, и буду делать добро людям, но часто не вижу ни малейшей причины им делать добро. И совсем люди не так прекрасны, чтоб о них так заботиться. Зачем они не подходят прямо и откровенно и к чему я непременно сам и первый обязан к ним лезть? – вот о чем я себя спрашивал. Я существо благодарное и доказал это уже сотнею дурачеств. Я мигом бы отвечал откровенному откровенностью и тотчас же стал бы любить его. Так я и делал; но все они тотчас же меня надували и с насмешкой от меня закрывались. Самый открытый из всех был Ламберт, очень бивший меня в детстве; но и тот – лишь открытый подлец и разбойник; да и тут открытость его лишь из глупости. Вот мои мысли, когда я приехал в Петербург.

Выйдя тогда от Дергачева (к которому бог знает зачем меня сунуло), я подошел к Васину и, в порыве восторженности, расхвалил его. И что же? В тот же вечер я уже почувствовал, что гораздо меньше люблю его. Почему? Именно потому, что, расхвалив его, я тем самым принизил перед ним себя. Между тем, казалось бы, обратно: человек настолько справедливый и великодушный, что воздаст другому, даже в ущерб себе, такой человек чуть ли не выше, по собственному достоинству, всякого. И что же – я это понимал, а все-таки меньше любил Васина, даже очень меньше любил, я нарочно беру пример, уже известный читателю. Даже про Крафта вспоминал с горьким и кислым чувством за то, что тот меня вывел сам в переднюю, и так было вплоть до другого дня, когда уже все совершенно про Крафта разъяснилось и сердиться нельзя было. С самых низших классов гимназии, чуть кто-нибудь из товарищей опережал меня или в науках, или в острых ответах, или в физической силе, я тотчас же переставал с ним водиться и говорить. Не то чтоб я его ненавидел или желал ему неудачи; просто отвертывался, потому что таков мой характер.

Да, я жаждал могущества всю мою жизнь, могущества и уединения. Я мечтал о том даже в таких еще летах, когда уж решительно всякий засмеялся бы мне в глаза, если б разобрал, что у меня под черепом. Вот почему я так полюбил тайну. Да, я мечтал изо всех сил и до того, что мне некогда было разговаривать; из этого вывели, что я нелюдим, а из рассеянности моей делали еще сквернее выводы на мой счет, но розовые щеки мои доказывали противное.

Особенно счастлив я был, когда, ложась спать и закрываясь одеялом, начинал уже один, в самом полном уединении, без ходящих кругом людей и без единого от них звука, пересоздавать жизнь на иной лад. Самая яростная мечтательность сопровождала меня вплоть до открытия «идеи», когда все мечты из глупых разом стали разумными и из мечтательной формы романа перешли в рассудочную форму действительности.

Все слилось в одну цель. Они, впрочем, и прежде были не так уж очень глупы, хотя их была тьма тем и тысяча тысяч. Но были любимые... Впрочем, не приводить же их здесь.

Могущество! Я убежден, что очень многим стало бы очень смешно, если б узнали, что такая «дрянь» бьет на могущество. Но я еще более изумлю: может быть, с самых первых мечтаний моих, то есть чуть ли не с самого детства, я иначе не мог вообразить себя как на первом месте, всегда и во всех оборотах жизни. Прибавлю странное признание: может быть, это продолжается еще до сих пор. При этом замечу, что я прощения не прошу.

В том-то и «идея» моя, в том-то и сила ее, что деньги – это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество. Я, может быть, и не ничтожество, но я, например, знаю, по зеркалу, что моя наружность мне вредит, потому что лицо мое ординарно. Но будь я богат, как Ротшильд, – кто будет справляться с лицом моим и не тысячи ли женщин, только свистни, налетят ко мне с своими красотами? Я даже уверен, что они сами, совершенно искренно, станут считать меня под конец красавцем. Я, может быть, и умен. Но будь я семи пядей во лбу, непременно тут же найдется в обществе человек в восемь пядей во лбу – и я погиб. Между тем, будь я Ротшильдом, разве этот умник в восемь пядей будет что-нибудь подле меня значить? Да ему и говорить не дадут подле меня! Я, может быть, остроумен; но вот подле меня Талейран, Пирон – и я затемнен, а чуть я Ротшильд – где Пирон, да может быть, где и Талейран? Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но в то же время и высочайшее равенство, и в этом вся главная их сила. Деньги сравнивают все неравенства. Все это я решил еще в Москве.

Вы в этой мысли увидите, конечно, одно нахальство, насилие, торжество ничтожества над талантами. Согласен, что мысль эта дерзка (а потому сладостна). Но пусть, пусть: вы думаете, я желал тогда могущества, чтоб непременно давить, мстить? В том-то и дело, что так непременно поступила бы ординарность. Мало того, я уверен, что тысячи талантов и умников, столь возвышающихся, если б вдруг навалить на них ротшильдские миллионы, тут же не выдержали

бы и поступили бы как самая пошлая ординарность и давили бы пуще всех. Моя идея не та. Я денег не боюсь; они меня не придавят и давить не заставят.

Мне не нужно денег, или, лучше, мне не деньги нужны; даже и не могущество; мне нужно лишь то, что приобретается могуществом и чего никак нельзя приобрести без могущества: это уединенное и спокойное сознание силы! Вот самое полное определение свободы, над которым так бьется мир! Свобода! Я начертал наконец это великое слово... Да, уединенное сознание силы – обаятельно и прекрасно. У меня сила, и я спокоен. Громы в руках Юпитера, и что ж: он спокоен; часто ли слышно, что он загремит? Дураку покажется, что он спит. А посади на место Юпитера какого-нибудь литератора или дуру деревенскую бабу – грому-то, грому-то что будет!

Будь только у меня могущество, рассуждал я, мне и не понадобится оно вовсе; уверяю, что сам, по своей воле, займу везде последнее место. Будь я Ротшильд, я бы ходил в стареньком пальто и с зонтиком. Какое мне дело, что меня толкают на улице, что я принужден перебежать вприпрыжку по грязи, чтоб меня не раздавили извозчики. Сознание, что это я сам Ротшильд, даже веселило бы меня в ту минуту. Я знаю, что у меня может быть обед, как ни у кого, и первый в свете повар, с меня довольно, что я это знаю. Я съем кусок хлеба и ветчины и буду сыт моим сознанием. Я даже теперь так думаю.

Не я буду лезть в аристократию, а она полезет ко мне, не я буду гоняться за женщинами, а они набегут как вода, предлагая мне все, что может предложить женщина. «Пошлые» прибегут за деньгами, а умных привлечет любопытство к странному, гордому, закрытому и ко всему равнодушному существу. Я буду ласков и с теми и с другими и, может быть, дам им денег, но сам от них ничего не возьму. Любопытство рождает страсть, может быть, я и внушу страсть. Они уйдут ни с чем, уверяю вас, только разве с подарками. Я только вдвое стану для них любопытнее.

... с меня довольно
Сего сознанья.

Странно то, что этой картинкой (впрочем, верной) я прельщался еще семнадцати лет.

Давить и мучить я никого не хочу и не буду; но я знаю, что если б захотел погубить такого-то человека, врага моего, то никто бы мне в том не воспрепятствовал, а все бы подслужились; и опять довольно. Никому бы я даже не отомстил. Я всегда удивлялся, как мог согласиться Джемс Ротшильд стать бароном! Зачем, для чего, когда он и без того всех выше на свете? «О, пусть обижает меня этот нахал генерал, на станции, где мы оба ждем лошадей; если б знал он, кто я, он побежал бы сам их запрягать и выскочил бы сажать меня в скромный мой тарантас! Писали, что один заграничный граф или барон на одной венской железной дороге надевал одному тамошнему банкиру, при публике, на ноги туфли, а тот был так ординарен, что допустил это. О, пусть, пусть эта страшная красавица (именно страшная, есть такие!) – эта дочь этой пышной и знатной аристократки, случайно встретясь со мной на пароходе или где-нибудь, косится и, вздернув нос, с презрением удивляется, как смел попасть в первое место, с нею рядом, этот скромный и плюгавый человечек с книжкой или с газетой в руках? Но если б только знала она, кто сидит подле нее! И она узнаёт – узнаёт и сядет подле меня сама, покорная, робкая, ласковая, ища моего взгляда, радостная от моей улыбки...» Я нарочно вставляю эти ранние картинки, чтоб ярче выразить мысль; но картинки бледны и, может быть, тривиальны. Одна действительность все оправдывает.

Скажут, глупо так жить: зачем не иметь отеля, открытого дома, не собирать общества, не иметь влияния, не жениться? Но чем же станет тогда Ротшильд? Он станет как все. Вся прелесть «идеи» исчезнет, вся нравственная сила ее. Я еще в детстве выучил наизусть монолог Скупого рыцаря у Пушкина; выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил! Тех же мыслей я и теперь.

«Но ваш идеал слишком низок, – скажут с презрением, – деньги, богатство! То ли дело общественная польза, гуманные подвиги?»

Но почему кто знает, как бы я употребил мое богатство? Чем безнравственно и чем низко то, что из множества жидовских, вредных и грязных рук эти миллионы стекутся в руки трезвого и твердого схимника, зорко всматривающегося в мир? Вообще, все эти мечты о будущем, все эти гадания – все это теперь еще как роман, и я, может быть, напрасно записываю; пускай бы оставалось под черепом; знаю тоже, что этих строк, может быть, никто не прочтет; но если бы кто и прочел, то поверил ли бы он, что, может быть, я бы и не вынес ротшильдских миллионов? Не потому, чтоб придавили они меня, а совсем в другом смысле, в обратном. В мечтах моих я уже не раз схватывал тот момент в будущем, когда сознание мое будет слишком удовлетворено, а могущества покажется слишком мало. Тогда – не от скуки и не от бесцельной тоски, а оттого, что безбрежно пожелаю большего, – я отдам все мои миллионы людям; пусть общество распределит там все мое богатство, а я – я вновь смешаюсь с ничтожеством! Может быть, даже обращусь в того нищего, который умер на пароходе, с тою разницею, что в рубище моем не найдут ничего зашитого. Одно сознание о том, что в руках моих были миллионы и я бросил их в грязь, как вран, кормило бы меня в моей пустыне. Я и теперь готов так же мыслить. Да, моя «идея» – это та крепость, в которую я всегда и во всяком случае могу скрыться от всех людей, хотя бы и нищим, умершим на пароходе. Вот моя поэма! И знайте, что мне именно нужна моя порочная воля *вся*, – единственно чтоб доказать *самому себе*, что я в силах от нее отказаться.

Без сомнения, возразят, что это уж поэзия и что никогда я не выпущу миллионов, если они попадутся, и не обращусь в саратовского нищего. Может быть, и не выпущу; я начертал лишь идеал моей мысли. Но прибавлю уже серьезно: если бы я дошел, в накоплении богатства, до такой цифры, как у Ротшильда, то действительно могло бы кончиться тем, что я бросил бы их обществу. (Впрочем, раньше ротшильдской цифры трудно бы было это исполнить.) И не половину бы отдал, потому что тогда вышла бы одна пошлость: я стал бы только вдвое беднее и больше ничего; но именно все, все до копейки, потому что, став нищим, я вдруг стал бы вдвое богаче Ротшильда! Если этого не поймут, то я не виноват; разъяснять не буду!

«Факирство, поэзия ничтожества и бессилия! – решат люди, – торжество бесталанности и середины». Да, сознаюсь, что отчасти торжество и бесталанности и середины, но вряд ли бессилия. Мне нравилось ужасно представлять себе существо, именно бесталанное и срединное, стоящее перед миром и говорящее ему с улыбкой: вы Галилеи и Коперники, Карлы Великие и Наполеоны, вы Пушкины и Шекспиры, вы фельдмаршалы и гофмаршалы, а вот я – бездарность и незаконность, и все-таки выше вас, потому что вы сами этому подчинились. Сознаюсь, я доводил эту фантазию до таких краев, что похеривал даже самое образование. Мне казалось, что красивее будет, если человек этот будет даже грязно необразованным. Эта, уже утрированная, мечта повлияла даже тогда на мой успех в седьмом классе гимназии; я перестал учиться именно из фанатизма: без образования будто прибавлялось красоты к идеалу. Теперь я изменил убеждение в этом пункте; образование не помешает.

Господа, неужели независимость мысли, хотя бы и самая малая, столь тяжела для вас? Блажен, кто имеет идеал красоты, хотя бы даже ошибочный! Но в свой я верую. Я только не так изложил его, неумело, азбучно. Через десять лет, конечно, изложил бы лучше. А это сберегу на память.

IV

Я кончил «идею». Если описал пошло, поверхностно – виноват я, а не «идея». Я уже предупредил, что простейшие идеи понимаются всех труднее; теперь прибавлю, что и излагаются труднее, тем более что я описывал «идею» еще в прежнем виде. Есть и обратный закон для идей: идеи пошлые, скорые – понимаются необыкновенно быстро, и непременно толпой,

непременно всей улицей; мало того, считаются величайшими и гениальнейшими, но – лишь в день своего появления. Дешевое не прочно. Быстрое понимание – лишь признак пошлости понимаемого. Идея Бисмарка стала вмиг гениальной, а сам Бисмарк – гением; но именно подозрительна эта быстрота: я жду Бисмарка через десять лет, и увидим тогда, что останется от его идеи, а может быть, и от самого господина канцлера. Эту в высшей степени постороннюю и не подходящую к делу заметку я вставляю, конечно, не для сравнения, а тоже для памяти. (Разъяснение для слишком уж грубого читателя.)

А теперь расскажу два анекдота, чтобы тем покончить с «идеями» совсем и так, чтоб она ничем уж не мешала в рассказе.

Летом, в июле, за два месяца до поездки в Петербург и когда я уже стал совершенно свободен, Марья Ивановна попросила меня съездить в Троицкий посад к одной старой поселившейся там девице с одним поручением – весьма неинтересным, чтобы упоминать о нем в подробности. Возвращаясь в тот же день, я заметил в вагоне одного плюгавенького молодого человека, недурно, но нечисто одетого, угреватого, из грязновато-смуглых брюнетов. Он отличался тем, что на каждой станции и полустанции непременно выходил и пил водку. Под конец пути образовался около него веселый кружок весьма дрянной, впрочем, компании. Особенно восхищался один купец, тоже немного пьяный, способностью молодого человека пить непрерывно, оставаясь трезвым. Очень доволен был и еще один молодой парень, ужасно глупый и ужасно много говоривший, одетый по-немецки и от которого весьма скверно пахло, – лакей, как я узнал после; этот с пившим молодым человеком даже подружился и при каждой остановке поезда поднимал его приглашением: «Теперь пора водку пить» – и оба выходили обнявшись. Пивший молодой человек почти совсем не говорил ни слова, а собеседников около него усаживалось все больше и больше; он только всех слушал, непрерывно ухмылялся с слюнявым хихиканьем и, от времени до времени, но всегда неожиданно, производил какой-то звук, вроде «тюр-люр-лю!», причем как-то очень карикатурно подносил палец к своему носу. Это и веселило и купца, и лакея, и всех, и они чрезвычайно громко и развязно смеялись. Понять нельзя, чему иногда смеются люди. Подошел и я – и не понимаю, почему мне этот молодой человек тоже как бы понравился; может быть, слишком ярким нарушением общепринятых и оказавшихся приличий, – словом, я не разглядел дурака; однако с ним сошелся тогда же на *ты* и, выходя из вагона, узнал от него, что он вечером, часу в девятом, придет на Тверской бульвар. Оказался он бывшим студентом. Я пришел на бульвар, и вот какой штуке он меня научил: мы ходили с ним вдвоем по всем бульварам и чуть попозже замечали идущую женщину из порядочных, но так, что кругом близко не было публики, как тотчас же приставали к ней. Не говоря с ней ни слова, мы помещались, он по одну сторону, а я по другую, и с самым спокойным видом, как будто совсем не замечая ее, начинали между собой самый неблагоприятный разговор. Мы называли предметы их собственными именами, с самым безмятежным видом и как будто так следует, и пускались в такие тонкости, объясняя разные скверности и свинства, что самое грязное воображение самого грязного развратника того бы не выдумало. (Я, конечно, все эти знания приобрел еще в школах, даже еще до гимназии, но лишь слова, а не дело.) Женщина очень пугалась, быстро торопилась уйти, но мы тоже учащали шаги и – продолжали свое. Жертве, конечно, ничего нельзя было сделать, не кричать же ей: свидетелей нет, да и странно как-то жаловаться. В этих забавах прошло дней восемь; не понимаю, как могло это мне понравиться; да и не нравилось же, а так. Мне сперва казалось это оригинальным, как бы выходящим из обыденных казенных условий; к тому же я терпеть не мог женщин. Я сообщил раз студенту, что Жан-Жак Руссо признается в своей «Исповеди», что он, уже юношей, любил потихоньку из-за угла выставлять, обнажив их, обыкновенно закрываемые части тела и поджидал в таком виде проходивших женщин. Студент ответил мне своим «тюр-люр-лю». Я заметил, что он был страшно невежествен и удивительно мало чем интересовался. Никакой затаенной идеи, которую я ожидал в нем найти. Вместо оригинальности я нашел лишь подав-

ляющее однообразие. Я не любил его все больше и больше. Наконец все кончилось совсем неожиданно: мы пристали раз, уже совсем в темноте, к одной быстро и робко проходившей по бульвару девушке, очень молоденькой, может быть только лет шестнадцати или еще меньше, очень чисто и скромно одетой, может быть живущей трудом своим и возвращавшейся домой с занятий, к старушке матери бедной вдове с детьми; впрочем, нечего впадать в чувствительность. Девочка некоторое время слушала и спешила-спешила, наклонив голову и закрывшись вуалем, боясь и трепеща, но вдруг остановилась, откинула вуаль с своего очень недурного, сколько помню, но худенького лица и с сверкающими глазами крикнула нам:

– Ах, какие вы подлецы!

Может быть, тут и заплакала бы, но произошло другое: размахнулась и своею маленькой тощей рукой влепила студенту такую пощечину, которой ловче, может быть, никогда не было дано. Так и хлястнуло! Он было выбранился и бросился, но я удержал, и девочка успела убежать. Оставшись, мы тотчас поссорились: я высказал все, что у меня за все время на него накопело; высказал ему, что он лишь жалкая бездарность и ординарность и что в нем никогда не было ни малейшего признака идеи. Он выбранил меня... (я раз объяснил ему насчет моей незаконнорожденности), затем мы расплевались, и с тех пор я его не видал. В тот вечер я очень досадовал, на другой день не так много, на третий совсем забыл. И что ж, хоть и вспоминалась мне иногда потом эта девочка, но лишь случайно и мельком. Только по приезде в Петербург, недели две спустя, я вдруг вспомнил о всей этой сцене, – вспомнил, и до того мне стало вдруг стыдно, что буквально слезы стыда потекли по щекам моим. Я промучился весь вечер, всю ночь, отчасти мучаюсь и теперь. Я понять сначала не мог, как можно было так низко и позорно тогда упасть и, главное – забыть этот случай, не стыдиться его, не раскаиваться. Только теперь я осмыслил, в чем дело: виною была «идея». Короче, я прямо вывожу, что, имея в уме нечто неподвижное, всегдашнее, сильное, которым страшно занят, – как бы удаляешься тем самым от всего мира в пустыню, и все, что случается, проходит лишь вскользь, мимо главного. Даже впечатления принимаются неправильно. И кроме того, главное в том, что имеешь всегда отговорку. Сколько я мучил мою мать за это время, как позорно я оставлял сестру: «Э, у меня “идея”, а то все мелочи» – вот что я как бы говорил себе. Меня самого оскорбляли, и больно, – я уходил оскорбленный и потом вдруг говорил себе: «Э, я низок, а все-таки у меня “идея”, и они не знают об этом». «Идея» утешала в позоре и ничтожестве; но и все мерзости мои тоже как бы прятались под идею; она, так сказать, все облегчала, но и все заволакивала передо мной; но такое неясное понимание случаев и вещей, конечно, может вредить даже и самой «идее», не говоря о прочем.

Теперь другой анекдот.

Марья Ивановна, первого апреля прошлого года, была именинница. Вечеру пришло несколько гостей, очень немногих. Вдруг входит запыхавшись Аграфена и объявляет, что в сенях, перед кухней, пищит подкинутый младенец и что она не знает, как быть. Известие всех взволновало, все пошли и увидели лукошко, а в лукошке – трех- или четырехнедельную пищавшую девочку. Я взял лукошко и внес в кухню и тотчас нашел сложенную записку: «Милые благодетели, окажите доброжелательную помощь окрещенной девочке Арине; а мы с ней за вас будем завсегда воссылать к престолу слезы наши, и поздравляем вас с днем тезоименитства; неизвестные вам люди». Тут Николай Семенович, столь мною уважаемый, очень огорчил меня: он сделал очень серьезную мину и решил отослать девочку немедленно в воспитательный дом. Мне очень стало грустно. Они жили очень экономно, но не имели детей, и Николай Семенович был всегда этому рад. Я бережно вынул из лукошка Ариночку и приподнял ее за плечики; из лукошка пахло каким-то кислым и острым запахом, какой бывает от долго не мытого грудного ребеночка. Поспорив с Николаем Семеновичем, я вдруг объявил ему, что беру девочку на свой счет. Тот стал возражать с некоторою строгостью, несмотря на всю свою мягкость, и хоть кончил шуткой, но намерение насчет воспитательного оставил во всей силе. Однако сделалось по-

моему: на том же дворе, но в другом флигеле, жил очень бедный столяр, человек уже пожилой и пивший; но у жены его, очень еще не старой и очень здоровой бабы, только что помер грудной ребеночек и, главное, единственный, родившийся после восьми лет бесплодного брака, тоже девочка и, по странному счастью, тоже Ариночка. Я говорю, по счастью, потому что когда мы спорили в кухне, эта баба, услышав о случае, прибежала поглядеть, а когда узнала, что это Ариночка, – умилилась. Молоко еще у ней не прошло, она открыла грудь и приложила к груди ребенка. Я припал к ней и стал просить, чтоб унесла к себе, а что я буду платить ежемесячно. Она боялась, позволит ли муж, но взяла на ночь. Наутро муж позволил за восемь рублей в месяц, и я тут же отсчитал ему за первый месяц вперед; тот тотчас же пропил деньги. Николай Семенович, все еще странно улыбаясь, согласился поручиться за меня столяру, что деньги, по восьми рублей ежемесячно, будут вноситься мною неуклонно. Я было стал отдавать Николаю Семеновичу, чтоб обеспечить его, мои шестьдесят рублей на руки, но он не взял; впрочем, он знал, что у меня есть деньги, и верил мне. Этою деликатностью его наша минутная ссора была изглажена. Марья Ивановна ничего не говорила, но удивлялась, как я беру такую заботу. Я особенно оценил их деликатность в том, что они оба не позволили себе ни малейшей шутки надо мною, а стали, напротив, относиться к делу так же серьезно, как и следовало. Я каждый день бегал к Дарье Родивоновне, раза по три, а через неделю подарил ей лично, в руку, потихоньку от мужа, еще три рубля. На другие три рубля я завел одеяльце и пеленки. Но через десять дней Риночка вдруг заболела. Я тотчас привез доктора, он что-то прописал, и мы провозились всю ночь, мучая крошку его скверным лекарством, а на другой день он объявил, что уже поздно, и на просьбы мои – а впрочем, кажется, на укоры – произнес с благородною уклончивостью: «Я не бог». Язычок, губки и весь рот у девочки покрылись какой-то мелкой белой сыпью, и она к вечеру же умерла, упирая в меня свои большие черные глазки, как будто она уже понимала. Не понимаю, как не пришло мне на мысль снять с нее, с мертвенькой, фотографию. Ну, поверят ли, что я не то что плакал, а просто выл в этот вечер, чего прежде никогда не позволял себе, и Марья Ивановна принуждена была утешать меня – и опять-таки совершенно без насмешки ни с ее, ни с его стороны. Столяр же сделал и гробик; Марья Ивановна отделала его рюшем и положила хорошенькую подушечку, а я купил цветов и обсыпал ребеночка: так и снесли мою бедную былиночку, которую, поверят ли, до сих пор не могу позабыть. Немного, однако, спустя все это почти внезапное происшествие заставило меня даже очень задуматься. Конечно, Риночка обошлась недорого – со всем: с гробиком, с погребением, с доктором, с цветами и с платой Дарье Родивоновне – тридцать рублей. Эти деньги, отъезжая в Петербург, я наверстал на присланных мне на выезд Версиловым сорока рублях и продажей кой-каких вещей перед отъездом, так что весь мой «капитал» остался неприкосновенным. «Но, – подумал я, – если я буду так сбиваться в сторону, то недалеко уеду». В истории с студентом выходило, что «идея» может увлечь до неясности впечатлений и отвлечь от текущей действительности. Из истории с Риночкой выходило обратное, что никакая «идея» не в силах увлечь (по крайней мере меня) до того, чтоб я не остановился вдруг перед каким-нибудь подавляющим фактом и не пожертвовал ему разом всем тем, что уже годами труда сделал для «идеи». Оба вывода были тем не менее верны.

Глава шестая

I

Надежды мои не сбылись вполне – я не застал их одних: хоть Версилова и не было, но у матери сидела Татьяна Павловна – все-таки чужой человек. Половина великодушного расположения разом с меня соскочила. Удивительно, как я скор и перевертлив в подобных случаях; песчинки или волоска достаточно, чтобы разогнать хорошее и заменить дурным. Дурные же впечатления мои, к моему сожалению, не так скоро изгоняются, хоть я и не злопамятен. Когда я вошел, мне мелькнуло, что мать тотчас же и быстро прервала нить своего разговора с Татьяной Павловной, кажется весьма оживленного. Сестра воротилась с работы передо мной лишь за минуту и еще не выходила из своей каморки.

Квартира эта состояла из трех комнат. Та, в которой все, по обыкновению, сидели, середина комната, или гостиная, была у нас довольно большая и почти приличная. В ней все же были мягкие красные диваны, очень, впрочем, истертые (Версилов не терпел чехлов), кой-какие ковры, несколько столов и ненужных столиков. Затем, направо, находилась комната Версилова, тесная и узкая, в одно окно; в ней стоял жалкий письменный стол, на котором валялось несколько неупотребляемых книг и забытых бумаг, а перед столом не менее жалкое мягкое кресло, со сломанной и поднявшейся вверх углом пружиной, от которой часто стонал Версилов и бранился. В этом же кабинете, на мягком и тоже истасканном диване, стлали ему и спать; он ненавидел этот свой кабинет и, кажется, ничего в нем не делал, а предпочитал сидеть праздно в гостиной по целым часам. Налево из гостиной была точно такая же комнатка, в ней спали мать и сестра. В гостиную входили из коридора, который оканчивался входом в кухню, где жила кухарка Лукерья, и когда стряпала, то чадила пригорелым маслом на всю квартиру немилосердно. Бывали минуты, когда Версилов громко проклинал свою жизнь и участь из-за этого кухонного чада, и в этом одном я ему вполне сочувствовал; я тоже ненавижу эти запахи, хотя они и не проникали ко мне: я жил вверху в светелке, под крышей, куда подымался по чрезвычайно крутой и скрипучей лесенке. Там у меня было достопримечательного – полукруглое окно, ужасно низкий потолок, клеенчатый диван, на котором Лукерья к ночи постилала мне простыню и клала подушку, а прочей мебели лишь два предмета – простейший тесовый стол и дырявый плетеный стул.

Впрочем, все-таки у нас сохранялись остатки некоторого, когда-то бывшего комфорта; в гостиной, например, имелась весьма недурная фарфоровая лампа, а на стене висела превосходная большая гравюра дрезденской Мадонны и тут же напротив, на другой стене дорогая фотография, в огромном размере, литых бронзовых ворот флорентийского собора. В этой же комнате в углу висел большой киот с старинными фамильными образами, из которых на одном (всех святых) была большая вызолоченная серебряная риза, та самая, которую хотели закладывать, а на другом (на образе божьей матери) – риза бархатная, вышитая жемчугом. Перед образами висела лампадка, зажигавшаяся под каждый праздник. Версилов к образам, в смысле их значения, был очевидно равнодушен и только морщился иногда, видимо сдерживая себя, от отраженного от золоченой ризы света лампадки, слегка жалуясь, что это вредит его зрению, но все же не мешал матери зажигать.

Я обыкновенно входил молча и угрюмо, смотря куда-нибудь в угол, а иногда входя не здоровался. Возвращался же всегда ранее этого раза, и мне подавали обедать наверх. Войдя теперь, я вдруг сказал: «Здравствуйте, мама», чего никогда прежде не делывал, хотя как-то все-таки, от стыдливости, не мог и в этот раз заставить себя посмотреть на нее, и уселся в противоположном конце комнаты. Я очень устал, но о том не думал.

– Этот неуч все так же у вас продолжает входить невежей, как и прежде, – прошипела на меня Татьяна Павловна; ругательные слова она и прежде себе позволяла, и это вошло уже между мною и ею в обычай.

– Здравствуй... – ответила мать, как бы тотчас же потерявшись оттого, что я с ней поздоровался.

– Кушать давно готово, – прибавила она, почти сконфузившись, – суп только бы не простыл, а котлетки я сейчас велю... – Она было стала поспешно вставать, чтоб идти на кухню, и в первый раз, может быть, в целый месяц мне вдруг стало стыдно, что она слишком уж проворно вскакивает для моих услуг, тогда как до сих пор сам же я того требовал.

– Покорно благодарю, мама, я уж обедал. Если не помешаю, я здесь отдохну.

– Ах... что ж... отчего же, посиди...

– Не беспокойтесь, мама, я грубить Андрею Петровичу больше не стану, – отрезал я разом...

– Ах, господи, какое с его стороны великодушие! – крикнула Татьяна Павловна. – Голубчик Соня, – да неужели ты все продолжаешь говорить ему *вы*? Да кто он такой, чтоб ему такие почести, да еще от родной своей матери! Посмотри, ведь ты вся законфузилась перед ним, срам!

– Мне самому очень было бы приятно, если б вы, мама, говорили мне *ты*.

– Ах... Ну и хорошо, ну и буду, – заторопилась мать, – я – я ведь не всегда же... ну, с этих пор знать и буду.

Она вся покраснела. Решительно ее лицо бывало иногда чрезвычайно привлекательно... Лицо у ней было простодушное, но вовсе не простоватое, немного бледное, малокровное. Щеки ее были очень худы, даже ввалились, а на лбу сильно начинали скопляться морщинки, но около глаз их еще не было, и глаза, довольно большие и открытые, сияли всегда тихим и спокойным светом, который меня привлек к ней с самого первого дня. Любил я тоже, что в лице ее вовсе не было ничего такого грустного или ущемленного; напротив, выражение его было бы даже веселое, если б она не тревожилась так часто, совсем иногда попусту, пугаясь и схватываясь с места иногда совсем из-за ничего или вслушиваясь испуганно в чей-нибудь новый разговор, пока не уверялась, что все по-прежнему хорошо. Все хорошо – именно значило у ней, коли «все по-прежнему». Только бы не изменялось, только бы нового чего не произошло, хотя бы даже счастливого!.. Можно было подумать, что ее в детстве как-нибудь испугали. Кроме глаз ее нравился мне овал ее продолговатого лица, и, кажется, если б только на капельку были менее широки ее скулы, то не только в молодости, но даже и теперь она могла бы назваться красивою. Теперь же ей было не более тридцати девяти, но в темно-русых волосах ее уже сильно проскакивали сединки.

Татьяна Павловна взглянула на нее с решительным негодованием.

– Этому-то бутузу! И так перед ним дрожать! Смешная ты, Софья; сердись ты меня, вот что!

– Ах, Татьяна Павловна, зачем бы вам так с ним теперь! Да вы шутите, может, а? – прибавила мать, приметив что-то вроде улыбки на лице Татьяны Павловны. Татьяны Павловнину брань и впрямь иногда нельзя было принять за серьезное, но улыбнулась она (если только улыбнулась), конечно, лишь на мать, потому что ужасно любила ее доброту и уж без сомнения заметила, как в ту минуту она была счастлива моею покорностью.

– Я, конечно, не могу не почувствовать, если вы сами бросаетесь на людей, Татьяна Павловна, и именно тогда, когда я, войдя, сказал «здравствуйте, мама», чего прежде никогда не делал, – нашел я наконец нужным ей заметить.

– Представьте себе, – вскипела она тотчас же, – он считает это за подвиг? На коленках, что ли, стоять перед тобой, что ты раз в жизни вежливость оказал? Да и это ли вежливость!

Что ты в угол-то смотришь, входя? Разве я не знаю, как ты перед нею рвешь и мечешь! Мог бы и мне сказать «здравствуй», я пеленала тебя, я твоя крестная мать.

Разумеется, я пренебрег отвечать. В ту минуту как раз вошла сестра, и я поскорее обратился к ней:

– Лиза, я сегодня видел Васина, и он у меня про тебя спросил. Ты знакома?

– Да, в Луге, прошлого года, – совершенно просто ответила она, садясь подле и ласково на меня посмотрев. Не знаю почему, мне казалось, что она так и вспыхнет, когда я ей расскажу про Васина. Сестра была блондинка, светлая блондинка, совсем не в мать и не в отца волосами; но глаза, овал лица были почти как у матери. Нос очень прямой, небольшой и правильный; впрочем, и еще особенность – мелкие веснушки в лице, чего совсем у матери не было. Версильевского было очень немного, разве тонкость стана, не малый рост и что-то такое прелестное в походке. Со мной же ни малейшего сходства; два противоположные полюса.

– Я их месяца три знала, – прибавила Лиза.

– Это ты про Васина говоришь *их*, Лиза? Надо сказать *его*, а не *их*. Извини, сестра, что я поправляю, но мне горько, что воспитанием твоим, кажется, совсем пренебрегли.

– А при матери низко об этом замечать, с твоей стороны, – так и вспыхнула Татьяна Павловна, – и врешь ты, вовсе не пренебрегли.

– Ничего я и не говорю про мать, – резко вступился я, – знайте, мама, что я смотрю на Лизу как на вторую вас; вы сделали из нее такую же прелесть по доброте и характеру, какую, наверно, были вы сами, и есть теперь, до сих пор, и будете вечно... Я лишь про наружный лоск, про все эти светские глупости, впрочем необходимые. Я только о том негодую, что Версильев, услышав, что ты про Васина выговариваешь *их*, а не *его*, наверно, не поправил бы тебя вовсе – до того он высокомерен и равнодушен с нами. Вот что меня бесит!

– Сам-то медвежонок, а туда же лоску учит. Не смейте, сударь, впредь при матери говорить: «Версильев», равно и в моем присутствии, – не стерплю! – засверкала Татьяна Павловна.

– Мама, я сегодня жалованье получил, пятьдесят рублей, возьмите, пожалуйста, вот!

Я подошел и подал ей деньги; она тотчас же затревожилась.

– Ах, не знаю, как взять-то! – проговорила она, как бы боясь дотронуться до денег. Я не понял.

– Помилуйте, мама, если вы обе считаете меня в семье как сына и брата, то...

– Ах, виновата я перед тобою, Аркадий; призналась бы тебе кое в чем, да боюсь тебя уж очень...

Сказала она это с робкою и заискивающей улыбкой; я опять не понял и перебил:

– Кстати, известно вам, мама, что сегодня в суде решилось дело Андрея Петровича с Сокольскими?

– Ах, известно! – воскликнула она, от страху сложив перед собою ладошками руки (ее жест).

– Сегодня? – так и вздрогнула вся Татьяна Павловна, – да быть же того не может, он бы сказал. Он тебе сказал? – повернулась она к матери.

– Ах, нет, что сегодня, про то не сказал. Да я всю неделю так боюсь. Хоть бы проиграть, я бы помолилась, только бы с плеч долой, да опять по-прежнему.

– Так не сказал же и вам, мама! – воскликнул я. – Каков человек! Вот образец его равнодушия и высокомерия; что я говорил сейчас?

– Решилось-то чем, чем решилось-то? Да кто тебе сказал? – кидалась Татьяна Павловна. – Да говори же!

– Да вот и сам он! Может, расскажет, – возвестил я, слышав его шаги в коридоре, и поскорей уселся около Лизы.

– Брат, ради бога, пощади маму, будь терпелив с Андреем Петровичем... – прошептала мне сестра.

– Буду, буду, я с тем и воротился, – пожал я ей руку. Лиза очень недоверчиво на меня посмотрела и права была.

II

Он вошел очень довольный собой, так довольный, что и нужным не нашел скрыть свое расположение. Да и вообще он привык перед нами, в последнее время, раскрываться без малейшей церемонии, и не только в своем дурном, но даже в смешном, чего уж всякий боится; между тем вполне сознавал, что мы до последней черточки всё поймем. В последний год он, по замечанию Татьяны Павловны, очень опустился в costume: одет был всегда прилично, но в старом и без изысканности. Это правда, он готов был носить белье по два дня, что даже огорчало мать; это у них считалось за жертву, и вся эта группа преданных женщин прямо видела в этом подвиг. Шляпы он всегда носил мягкие, широкополые, черные; когда он снял в дверях шляпу – целый пук его густейших, но с сильной проседью волос так и прынул на его голове. Я любил смотреть на его волосы, когда он снимал шляпу.

– Здравствуйте; все в сборе; даже и он в том числе? Слышал его голос еще из передней; меня бранил, кажется?

Один из признаков его веселого расположения – это когда он принимался надо мною острить. Я не отвечал, разумеется. Вошла Лукерья с целым кульком каких-то покупок и положила на стол.

– Победа, Татьяна Павловна; в суде выиграно, а апеллировать, конечно, князья не решатся. Дело за мною! Тотчас же нашел занять тысячу рублей. Софья, положи работу, не труди глаза. Лиза, с работы?

– Да, папа, – с ласковым видом ответила Лиза; она звала его отцом; я этому ни за что не хотел подчиниться.

– Устала?

– Устала.

– Оставь работу, завтра не ходи; и совсем брось.

– Папа, мне так хуже.

– Прошу тебя... Я ужасно не люблю, когда женщины работают, Татьяна Павловна.

– Как же без работы-то? Да чтобы женщина не работала!..

– Знаю, знаю, все это прекрасно и верно, и я заранее согласен; но – я, главное, про рукоделья. Представьте себе, но мне это, кажется, одно из болезненных или, лучше, неправильных впечатлений детства. В смутных воспоминаниях моего пяти-шестилетнего детства я всего чаще припоминаю – с отвращением конечно – около круглого стола конклав умных женщин, строгих и суровых, ножницы, материю, выкройки и модную картинку. Все судят и рядят, важно и медленно покачивая головами, примеривая и рассчитывая и готовясь кроить. Все эти ласковые лица, которые меня так любят, – вдруг стали неприступны; зашали я, и меня тотчас же унесут. Даже бедная няня моя, придерживая меня рукой и не отвечая на мои крики и теребенья, загляделась и заслушалась точно райской птицы. Вот эту-то строгость умных лиц и важность перед начатием кройки – мне почему-то мучительно даже и теперь представить. Татьяна Павловна, вы ужасно любите кроить! Как это ни аристократично, но я все-таки больше люблю женщину совсем не работающую. Не прими на свой счет, Софья... Да где тебе! Женщина и без того великая власть. Это, впрочем, и ты знаешь, Соня. Как ваше мнение, Аркадий Макарович, наверно, восстанет?

– Нет, ничего, – ответил я. – Особенно хорошо выражение, что женщина – великая власть, хотя не понимаю, зачем вы связали это с работой? А что не работать нельзя, когда денег нет, – сами знаете.

– Но теперь довольно, – обратился он к матушке, которая так вся и сияла (когда он обратился ко мне, она вся вздрогнула), – по крайней мере хоть первое время чтоб я не видал рукоделий, для меня прошу. Ты, Аркадий, как юноша нашего времени, наверно, немножко социалист; ну, так поверишь ли, друг мой, что наиболее любящих праздность – это из трудящегося вечно народа!

– Отдых, может быть, а не праздность.

– Нет, именно праздность, полное ничегонеделание; в том идеал! Я знал одного вечного труженика, хоть и не из народа; он был человек довольно развитой и мог обобщать. Он всю жизнь свою, каждый день может быть, мечтал с засосом и с умилением о полнейшей праздности, так сказать, доводя идеал до абсолюта – до бесконечной независимости, до вечной свободы мечты и праздного созерцания. Так и было вплоть, пока не сломался совсем на работе; починить нельзя было; умер в больнице. Я серьезно иногда готов заключить, что о наслаждениях труда выдумали праздные люди, разумеется из добродетельных. Это одна из «женевских идей» конца прошлого столетия. Татьяна Павловна, третьего дня я вырезал из газеты одно объявление, вот оно (он вынул клочок из жилетного кармана), – это из числа тех бесконечных «студентов», знающих классические языки и математику и готовых в отъезд, на чердак и всюду. Вот слушайте: «Учительница подготавливает во все учебные заведения (слышите, во все) и дает уроки арифметики», – одна лишь строчка, но классическая! Подготавливает в учебные заведения – так уж конечно и из арифметики? Нет, у ней об арифметике особенно. Это – это уже чистый голод, это уже последняя степень нужды. Трогательна тут именно эта неумелость: очевидно, никогда себя не готовила в учительницы, да вряд ли чему и в состоянии учить. Но ведь хоть топись, тащит последний рубль в газету и печатает, что подготавливает во все учебные заведения и, сверх того, дает уроки арифметики. *Per tutto mondo e in altri siti*²⁵.

– Ах, Андрей Петрович, ей бы помочь! Где она живет? – воскликнула Татьяна Павловна.

– Э, много таких! – Он сунул адрес в карман. – В этом кульке все гостинцы – тебе, Лиза, и вам, Татьяна Павловна; Софья и я, мы не любим сладкого. Пожалуй, и тебе, молодой человек. Я сам все взял у Елисеева и у Балле. Слишком долго «голодом сидели», как говорит Лукерья. (NB. Никогда никто не сидел у нас голодом.) Тут виноград, конфеты, дюшесы и клубничный пирог; даже взял превосходной наливки; орехов тоже. Любопытно, что я до сих пор с самого детства люблю орехи, Татьяна Павловна, и, знаете, самые простые. Лиза в меня; она тоже, как белочка, любит щелкать орешки. Но ничего нет прелестнее, Татьяна Павловна, как иногда невзначай, между детских воспоминаний, воображать себя мгновениями в лесу, в кустарнике, когда сам рвешь орехи... Дни уже почти осенние, но ясные, иногда так свежо, затаишься в глуши, забредешь в лес, пахнет листьями... Я вижу что-то симпатическое в вашем взгляде, Аркадий Макарович?

– Первые годы детства моего прошли тоже в деревне.

– Как, да ведь ты, кажется, в Москве проживал... если не ошибаюсь.

– Он у Андрониковых тогда жил в Москве, когда вы тогда приехали; а до тех пор проживал у покойной вашей тетушки, Варвары Степановны, в деревне, – подхватила Татьяна Павловна.

– Софья, вот деньги, припрядь. На днях обещали пять тысяч дать.

– Стало быть, уж никакой надежды князьям? – спросила Татьяна Павловна.

– Совершенно никакой, Татьяна Павловна.

– Я всегда сочувствовала вам, Андрей Петрович, и всем вашим, и была другом дома; но хоть князья мне и чужие, а мне, ей-богу, их жаль. Не осердитесь, Андрей Петрович.

– Я не намерен делиться, Татьяна Павловна.

²⁵ Во всем мире, а также и в других местах (*ит.*).

– Конечно, вы знаете мою мысль, Андрей Петрович, они бы прекратили иск, если б вы предложили поделить пополам в самом начале; теперь, конечно, поздно. Впрочем, не смею судить... Я ведь потому, что покойник, наверно, не обошел бы их в своем завещании.

– Не то что обошел бы, а наверно бы все им оставил, а обошел бы только одного меня, если бы сумел дело сделать и как следует завещание написать; но теперь за меня закон – и кончено. Делиться я не могу и не хочу, Татьяна Павловна, и делу конец.

Он произнес это даже с озлоблением, что редко позволял себе. Татьяна Павловна притихла. Мать как-то грустно потупила глаза: Версилов знал, что она одобряет мнение Татьяны Павловны.

«Тут эмская пощечина!» – подумал я про себя. Документ, доставленный Крафтом и бывший у меня в кармане, имел бы печальную участь, если бы попался к нему в руки. Я вдруг почувствовал, что все это сидит еще у меня на шее; эта мысль, в связи со всем прочим, конечно, подействовала на меня раздражительно.

– Аркадий, я желал бы, чтоб ты оделся получше, мой друг; ты одет недурно, но, ввиду дальнейшего, я мог бы тебе откомендовать хорошего одного француза, предоброевостного и со вкусом.

– Я вас попрошу никогда не делать мне подобных предложений, – рванул я вдруг.

– Что так?

– Я, конечно, не нахожу унижительного, но мы вовсе не в таком соглашении, а, напротив, даже в разногласии, потому что я на днях, завтра, оставляю ходить к князю, не видя там ни малейшей службы...

– Да в том, что ты ходишь, что ты сидишь с ним, – служба!

– Такие мысли унижительны.

– Не понимаю; а впрочем, если ты столь щекотлив, то не бери с него денег, а только ходи. Ты его огорчишь ужасно; он уж к тебе прилип, будь уверен... Впрочем, как хочешь...

Ему, очевидно, было неприятно.

– Вы говорите, не проси денег, а по вашей же милости я сделал сегодня подлость: вы меня не предупредили, а я требовал с него сегодня жалованье за месяц.

– Так ты уже распорядился; а я, признаюсь, думал, что ты не станешь просить; какие же вы, однако, все теперь ловкие! Нынче нет молодежи, Татьяна Павловна.

Он ужасно злился; я тоже рассердился ужасно.

– Мне надо же было разделаться с вами... это вы меня заставили, – я не знаю теперь, как быть.

– Кстати, Софи, отдай немедленно Аркадию его шестьдесят рублей; а ты, мой друг, не сердись за торопливость расчета. Я по лицу твоему угадываю, что у тебя в голове какое-то предприятие и что ты нуждаешься... в оборотном капитале... или вроде того.

– Я не знаю, что выражает мое лицо, но я никак не ожидал от мамы, что она расскажет вам про эти деньги, тогда как я так просил ее, – поглядел я на мать, засверкав глазами. Не могу выразить, как я был обижен.

– Аркаша, голубчик, прости, ради бога, не могла я никак, чтобы не сказать...

– Друг мой, не претендуй, что она мне открыла твои секреты, – обратился он ко мне, – к тому же она с добрым намерением – просто матери захотелось похвалиться чувствами сына. Но поверь, я бы и без того угадал, что ты капиталист. Все секреты твои на твоём честном лице написаны. У него «своя идея», Татьяна Павловна, я вам говорил.

– Оставим мое честное лицо, – продолжал я рвать, – я знаю, что вы часто видите насквозь, хотя в других случаях не дальше куриного носа, – и удивлялся вашей способности проникать. Ну да, у меня есть «своя идея». То, что вы так выразились, конечно случайность, но я не боюсь признаться: у меня есть «идея». Не боюсь и не стыжусь.

– Главное, не стыдись.

- А все-таки вам никогда не открою.
- То есть не удостоишь открыть. Не надо, мой друг, я и так знаю сущность твоей идеи; во всяком случае, это:

Я в пустыню удаляюсь...

Татьяна Павловна! Моя мысль – что он хочет... стать Ротшильдом, или вроде того, и удалиться в свое величие. Разумеется, он нам с вами назначит великодушно пенсион, – мнесто, может быть, и не назначит, – но, во всяком случае, только мы его и видели. Он у нас как месяц молодой – чуть покажется, тут и закатится.

Я содрогнулся внутри себя. Конечно, все это была случайность: он ничего не знал и говорил совсем не о том, хоть и помянул Ротшильда; но как он мог так верно определить мои чувства: порвать с ними и удалиться? Он все предугадал и наперед хотел засалить своим цинизмом трагизм факта. Что злился он ужасно, в том не было никакого сомнения.

– Мама! простите мою вспышку, тем более что от Андрея Петровича и без того невозможно укрыться, – засмеялся я притворно и стараясь хоть на миг перебить все в шутку.

– Самое лучшее, мой милый, это то, что ты засмеялся. Трудно представить, сколько этим каждый человек выигрывает, даже в наружности. Я серьезнейшим образом говорю. У него, Татьяна Павловна, всегда такой вид, будто у него на уме что-то столь уж важное, что он даже сам пристыжен сим обстоятельством.

– Я серьезно попросил бы вас быть скромнее, Андрей Петрович.

– Ты прав, мой друг; но надо же высказать раз навсегда, чтобы уж потом до всего этого не дотрогиваться. Ты приехал к нам из Москвы с тем, чтобы тотчас же взбунтоваться, – вот пока что нам известно о целях твоего прибытия. О том, что приехал с тем, чтоб нас удивить чем-то, – об этом я, разумеется, не упоминаю. Затем, ты весь месяц у нас и на нас фыркаешь, – между тем ты человек, очевидно, умный и в этом качестве мог бы предоставить такое фыркание тем, которым нечем уж больше отмстить людям за свое ничтожество. Ты всегда закрываешься, тогда как честный вид твой и красные щеки прямо свидетельствуют, что ты мог бы смотреть всем в глаза с полною невинностью. Он – ипохондрик, Татьяна Павловна; не понимаю, с чего они все теперь ипохондрики?

– Если вы не знали, где я даже рос, – как же вам знать, с чего человек ипохондрик?

– Вот она разгадка: ты обиделся, что я мог забыть, где ты рос!

– Совсем нет, не приписывайте мне глупостей. Мама, Андрей Петрович сейчас похвалил меня за то, что я засмеялся; давайте же смеяться – что так сидеть! Хотите, я вам про себя анекдоты стану рассказывать? Тем более что Андрей Петрович совсем ничего не знает из моих приключений.

У меня накипело. Я знал, что более мы уж никогда не будем сидеть, как теперь, вместе и что, выйдя из этого дома, я уж не войду в него никогда, – а потому, накануне всего этого, и не мог утерпеть. Он сам вызвал меня на такой финал.

– Это, конечно, премило, если только в самом деле будет смешно, – заметил он, пронизательно в меня вглядываясь, – ты немного огрубел, мой друг, там, где ты рос, а впрочем, все-таки ты довольно еще приличен. Он очень мил сегодня, Татьяна Павловна, и вы прекрасно сделали, что развязали наконец этот кулек.

Но Татьяна Павловна хмурилась; она даже не обернулась на его слова и продолжала развязывать кулек и на поданные тарелки раскладывать гостинцы. Мать тоже сидела в совершенном недоумении, конечно понимая и предчувствуя, что у нас выходит неладно. Сестра еще раз меня тронула за локоть.

III

– Я просто вам всем хочу рассказать, – начал я с самым развязнейшим видом, – о том, как один отец в первый раз встретился с своим милым сыном; это именно случилось «там, где ты рос»...

– Друг мой, а это будет... не скучно? Ты знаешь: *tous les genres*...²⁶

– Не хмурьтесь, Андрей Петрович, я вовсе не с тем, что вы думаете. Я именно хочу, чтоб все смеялись.

– Да услышит же тебя бог, мой милый. Я знаю, что ты всех нас любишь и... не захочешь расстроить наш вечер, – промямлил он как-то выделанно, небрежно.

– Вы, конечно, и тут угадали по лицу, что я вас люблю?

– Да, отчасти и по лицу.

– Ну, а я так по лицу Татьяны Павловны давно угадал, что она в меня влюблена. Не смотрите так зверски на меня, Татьяна Павловна, лучше смеяться! Лучше смеяться!

Она вдруг быстро ко мне повернулась и пронзительно с полминуты в меня всматривалась.

– Смотри ты! – погрозила она мне пальцем, но так серьезно, что это вовсе не могло уже относиться к моей глупой шутке, а было предостережением в чем-то другом: «Не вздумал ли уж начинать?»

– Андрей Петрович, так неужели вы не помните, как мы с вами встретились, в первый раз в жизни?

– Ей-богу, забыл, мой друг, и от души виноват. Я помню лишь, что это было как-то очень давно и происходило где-то...

– Мама, а не помните ли вы, как вы были в деревне, где я рос, кажется, до шести- или семилетнего моего возраста, и, главное, были ли вы в этой деревне в самом деле когда-нибудь, или мне только как во сне мерещится, что я вас в первый раз там увидел? Я вас давно уже хотел об этом спросить, да откладывал; теперь время пришло.

– Как же, Аркашенька, как же! да, я там у Варвары Степановны три раза гостила; в первый раз приезжала, когда тебе всего годочек от роду был, во второй – когда тебе четвертый годок пошел, а потом – когда тебе шесть годков минуло.

– Ну вот, я вас весь месяц и хотел об этом спросить.

Мать так и зарделась от быстрого прилива воспоминаний и с чувством спросила меня:

– Так неужто, Аркашенька, ты меня еще там запомнил?

– Ничего я не помню и не знаю, но только что-то осталось от вашего лица у меня в сердце на всю жизнь, и, кроме того, осталось знание, что вы моя мать. Я всю эту деревню как во сне теперь вижу, я даже свою няньку забыл. Эту Варвару Степановну запомнил капельку потому только, что у ней вечно были подвязаны зубы. Помню еще около дома огромные деревья, липы кажется, потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, палисадник с цветами, дорожку, а вас, мама, помню ясно только в одном мгновении, когда меня в тамошней церкви раз причащали и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу; это летом было, и голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно...

– Господи! Это все так и было, – сплеснула мать руками, – и голубочка того как есть помню. Ты перед самой чашей встрепенулся и кричишь: «Голубок, голубок!»

– Ваше лицо, или что-то от него, выражение, до того у меня осталось в памяти, что лет пять спустя, в Москве, я тотчас признал вас, хоть мне и никто не сказал тогда, что вы моя мать. А когда я с Андреем Петровичем в первый раз встретился, то взяли меня от Андрониковых; у них я вплоть до того тихо и весело прозябал лет пять сряду. Их казенную квартиру до мелочи

²⁶ Все жанры... (*фр.*).

помню, и всех этих дам и девиц, которые теперь все так здесь постарели, и полный дом, и самого Андроникова, как он всю провизию, птиц, судаков и поросят, сам из города в кульках привозил, а за столом, вместо супруги, которая все чванилась, нам суп разливал, и всегда мы всем столом над этим смеялись, и он первый. Там меня барышни по-французски научили, но больше всего я любил басни Крылова, заучил их множество наизусть и каждый день декламировал по басне Андроникову, прямо входя к нему в его крошечный кабинет, занят он был или нет. Ну вот, из-за басни же и с вами познакомился, Андрей Петрович... Я вижу, вы начинаете припоминать.

– Кое-что припоминаю, мой милый, именно ты что-то мне тогда рассказал... басню или из «Горе от ума», кажется? Какая же у тебя память, однако!

– Память! Еще бы! Я только это одно всю жизнь и помнил.

– Хорошо, хорошо, мой милый, ты меня даже оживляешь.

Он даже улыбнулся, тотчас же за ним стали улыбаться и мать и сестра. Доверчивость возвращалась; но Татьяна Павловна, расставив на столе гостинцы и усевшись в углу, продолжала пронизывать меня дурным взглядом.

– Случилось так, – продолжал я, – что вдруг, в одно прекрасное утро, явилась за мною друг моего детства, Татьяна Павловна, которая всегда являлась в моей жизни внезапно, как на театре, и меня повезли в карете и привезли в один барский дом, в пышную квартиру. Вы остановились тогда у Фанариотовой, Андрей Петрович, в ее пустом доме, который она у вас же когда-то и купила; сама же в то время была за границей. Я все носил курточки; тут вдруг меня одели в хорошенький синий сюртучок и в превосходное белье. Татьяна Павловна хлопотала около меня весь тот день и покупала мне много вещей; я же все ходил по всем пустым комнатам и смотрел на себя во все зеркала. Вот таким-то образом я на другое утро, часов в десять, бродя по квартире, зашел вдруг, совсем невзначай, к вам в кабинет. Я уже и накануне вас видел, когда меня только что привезли, но лишь мельком, на лестнице. Вы сходили с лестницы, чтобы сесть в карету и куда-то ехать; в Москву вы прибыли тогда один, после чрезвычайно долгого отсутствия и на короткое время, так что вас всюду расхватили и вы почти не жили дома. Встретив нас с Татьяной Павловной, вы протянули только: а! и даже не остановились.

– Он с особенною любовью описывает, – заметил Версиков, обращаясь к Татьяне Павловне; та отвернулась и не ответила.

– Я как сейчас вас вижу тогдашнего, цветущего и красивого. Вы удивительно успели постареть и подурнеть в эти девять лет, уж простите эту откровенность; впрочем, вам и тогда было уже лет тридцать семь, но я на вас даже загляделся: какие у вас были удивительные волосы, почти совсем черные, с глянцевитым блеском, без малейшей седины; усы и бакены ювелирской отделки – иначе не умею выразиться; лицо матово-бледное, не такое болезненно бледное, как теперь, а вот как теперь у дочери вашей, Анны Андреевны, которую я имел честь давеча видеть; горящие и темные глаза и сверкающие зубы, особенно когда вы смеялись. Вы именно рассмеялись, осмотрев меня, когда я вошел; я мало что умел тогда различать, и от улыбки вашей только взвеселилось мое сердце. Вы были в это утро в темно-синем бархатном пиджаке, в шейном шарфе, цвета сольферино²⁷, по великолепной рубашке с алансонскими кружевами, стояли перед зеркалом с тетрадь в руке и выработывали, декламируя, последний монолог Чацкого и особенно последний крик:

Карету мне, карету!

– Ах, боже мой, – вскрикнул Версиков, – ведь он и вправду! Я тогда взялся, несмотря на короткий срок в Москве, за болезнь Жилейко, сыграть Чацкого у Александры Петровны Витовтовой, на домашней сцене!

²⁷ Т. е. ярко-красный.

– Неужто вы забыли? – засмеялась Татьяна Павловна.

– Он мне напомнил! И признаюсь, эти тогдашние несколько дней в Москве, может быть, были лучшей минутой всей жизни моей! Мы все еще тогда были так молоды... и все тогда с таким жаром ждали... Я тогда в Москве неожиданно встретил столько... Но, продолжай, мой милый: ты очень хорошо сделал на этот раз, что так подробно напомнил...

– Я стоял, смотрел на вас и вдруг прокричал: «Ах, как хорошо, настоящий Чацкий!» Вы вдруг обернулись ко мне и спрашиваете: «Да разве ты уже знаешь Чацкого?» – а сами сели на диван и принялись за кофей в самом прелестном расположении духа, – так бы вас и расцеловал. Тут я вам сообщил, что у Андроникова все очень много читают, а барышни знают много стихов наизусть, а из «Горе от ума» так промеж себя разыгрывают сцены, и что всю прошлую неделю все читали по вечерам вместе, вслух, «Записки охотника», а что я больше всего люблю басни Крылова и наизусть знаю. Вы и велели мне прочесть что-нибудь наизусть, а я вам прочел «Разборчивую невесту»:

Невеста-девушка смышляла жениха.

– Именно, именно, ну теперь я все припомнил, – вскричал опять Версилов, – но, друг мой, я и тебя припоминаю ясно: ты был тогда такой милый мальчик, ловкий даже мальчик, и клянусь тебе, ты тоже проиграл в эти девять лет.

Тут уж все, и сама Татьяна Павловна, рассмеялись. Ясно, что Андрей Петрович изволил шутить и тою же монетою «отплатил» мне за колкое мое замечание о том, что он постарел. Все развеселились; да и сказано было прекрасно.

– По мере как я читал, вы улыбались, но я и до половины не дошел, как вы остановили меня, позвонили и вошедшему слуге приказали попросить Татьяну Павловну, которая немедленно прибежала с таким веселым видом, что я, видя ее накануне, почти теперь не узнал. При Татьяне Павловне я вновь начал «Невесту-девушку» и кончил блистательно, даже Татьяна Павловна улыбнулась, а вы, Андрей Петрович, вы крикнули даже «браво!» и заметили с жаром, что прочти я «Стрекозу и Муравья», так еще неудивительно, что толковый мальчик, в мои лета, прочтет толково, но что эту басню:

Невеста-девушка смышляла жениха,
Тут нет еще греха...

Вы послушайте, как он выговаривает: «Тут нет еще греха»! Одним словом, вы были в восхищении. Тут вы вдруг заговорили с Татьяной Павловной по-французски, и она мигом нахмурилась и стала вам возражать, даже очень горячилась; но так как невозможно же противоречить Андрею Петровичу, если он вдруг чего захочет, то Татьяна Павловна и увела меня поспешно к себе: там вымыли мне вновь лицо, руки, переменили белье, наподадили, даже завили мне волосы. Потом к вечеру Татьяна Павловна разрядилась сама довольно пышно, так даже, что я не ожидал, и повезла меня с собой в карете. Я попал в театр в первый раз в жизни, в любительский спектакль у Витовтовой; свечи, люстры, дамы, военные, генералы, девицы, занавес, ряды стульев – ничего подобного я до сих пор не видывал. Татьяна Павловна заняла самое скромное местечко в одном из задних рядов и меня посадила подле. Были, разумеется, и дети, как я, но я уже ни на что не смотрел, а ждал с замиранием сердца представления. Когда вы вышли, Андрей Петрович, я был в восторге, в восторге до слез, – почему, из-за чего, сам не понимаю. Слезы-то восторга зачем? – вот что мне было дико во все эти девять лет потом припоминать! Я с замиранием следил за комедией; в ней я, конечно, понимал только то, что *она ему* изменила, что над ним смеются глупые и недостойные пальца на ногу его люди. Когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и оскорблен, что он укоряет всех этих жал-

ких людей, но что он – велик, велик! Конечно, и подготовка у Андроникова способствовала пониманию, но – и ваша игра, Андрей Петрович! Я в первый раз видел сцену! В разъезде же, когда Чацкий крикнул: «Карету мне, карету!» (а крикнули вы удивительно), я сорвался со стула и вместе со всей залой, разразившейся аплодисментом, захопал и изо всей силы закричал «браво!». Живо помню, как в этот самый миг, точно булавка, вонзился в меня сзади, «пониже поясницы», разъяренный щипок Татьяны Павловны, но я и внимания не обратил! Разумеется, тотчас после «Горе от ума» Татьяна Павловна увезла меня домой: «Не танцевать же тебе оставаться, через тебя только я сама не остаюсь», – шипели вы мне, Татьяна Павловна, всю дорогу в карете. Всю ночь я был в бреду, а на другой день, в десять часов, уже стоял у кабинета, но кабинет был притворен: у вас сидели люди, и вы с ними занимались делами; потом вдруг укачили на весь день до глубокой ночи – так я вас и не увидел! Что такое хотелось мне тогда сказать вам – забыл конечно, и тогда не знал, но я пламенно желал вас увидеть как можно скорей. А назавтра поутру, еще с восьми часов, вы изволили отправиться в Серпухов: вы тогда только что продали ваше тульское имение, для расплаты с кредиторами, но все-таки у вас оставался в руках аппетитный куш, вот почему вы и в Москву тогда пожаловали, в которую не могли до того времени заглянуть, боясь кредиторов; и вот один только этот серпуховский грубиян, один из всех кредиторов, не соглашался взять половину долга вместо всего. Татьяна Павловна на вопросы мои даже и не отвечала: «Нечего тебе, а вот послезавтра отвезу тебя в пансион; приготовься, тетради свои возьми, книжки приведи в порядок, да приучайся сам в сундучке укладывать, не белоручкой расти вам, сударь», да то-то, да это-то, уж барабанили же вы мне, Татьяна Павловна, в эти три дня! Тем и кончилось, что свезли меня в пансион, к Тушару, в вас влюбленного и невинного, Андрей Петрович, и пусть, кажется, глупейший случай, то есть вся-то встреча наша, а, верите ли, я ведь к вам потом, через полгода, от Тушара бежать хотел!

– Ты прекрасно рассказал и все мне так живо напомнил, – отчеканил Версиров, – но, главное, поражает меня в рассказе твоём богатство некоторых странных подробностей, о долгах моих например. Не говоря уже о некоторой неприличности этих подробностей, не понимаю, как даже ты их мог достать?

– Подробности? Как достал? Да повторяю же, я только и делал, что доставал о вас подробности, все эти девять лет.

– Странное признание и странное препровождение времени!

Он повернулся, полулежа в креслах, и даже слегка зевнул, – нарочно или нет, не знаю.

– Что же, продолжать о том, как я хотел бежать к вам от Тушара?

– Запретите ему, Андрей Петрович, уймите его и выгоните вон, – рванула Татьяна Павловна.

– Нельзя, Татьяна Павловна, – внушительно ответил ей Версиров, – Аркадий, очевидно, что-то замыслил, и, стало быть, надо ему непременно дать кончить. Ну и пусть его! Расскажет, и с плеч долой, а для него в том и главное, чтоб с плеч долой спустить. Начинай, мой милый, твою новую историю, то есть я так только говорю: новую; не беспокойся, я знаю конец ее.

IV

– Бежал я, то есть хотел к вам бежать, очень просто. Татьяна Павловна, помните ли, как недели две спустя после моего водворения Тушар написал к вам письмо, – нет? А мне потом и письмо Марья Ивановна показывала, оно тоже в бумагах покойного Андроникова очутилось. Тушар вдруг спохватился, что мало взял денег, и с «достоинством» объявил вам в письме своем, что в заведении его воспитываются князья и сенаторские дети и что он считает ниже своего заведения держать воспитанника с таким происхождением, как я, если ему не дадут прибавки.

– Mon cher, ты бы мог...

– О, ничего, ничего, – перебил я, – я только немножко про Тушара. Вы ему ответили уже из уезда, Татьяна Павловна, через две недели, и резко отказали. Я припоминаю, как он, весь багровый, вошел тогда в нашу классную. Это был очень маленький и очень плотненький французик, лет сорока пяти и действительно парижского происхождения, разумеется из сапожников, но уже с незапамятных времен служивший в Москве на штатном месте, преподавателем французского языка, имевший даже чины, которыми чрезвычайно гордился, – человек глубоко необразованный. А нас, воспитанников, было у него всего человек шесть; из них действительно какой-то племянник московского сенатора, и все мы у него жили совершенно на семейном положении, более под присмотром его супруги, очень манерной дамы, дочери какого-то русского чиновника. Я в эти две недели ужасно важничал перед товарищами, хвастался моим синим сюртуком и папенькой моим Андреем Петровичем, и вопросы их: почему же я Долгорукий, а не Версилов, – совершенно не смущали меня именно потому, что я сам не знал почему.

– Андрей Петрович! – крикнула Татьяна Павловна почти угрожающим голосом. Напротив, матушка, не отрываясь, следила за мною, и ей видимо хотелось, чтобы я продолжал.

– Се²⁸ Тушар... действительно я припоминаю теперь, что он такой маленький и вертлявый, – процедил Версилов, – но мне его рекомендовали тогда с наилучшей стороны...

– Се Тушар вошел с письмом в руке, подошел к нашему большому дубовому столу, за которым мы все шестеро что-то зубрили, крепко схватил меня за плечо, поднял со стула и велел захватить мои тетрадки.

– Твое место не здесь, а там, – указал он мне крошечную комнатку налево из передней, где стоял простой стол, плетеный стул и клеенчатый диван – точь-в-точь как теперь у меня наверху в светелке. Я перешел с удивлением и очень оробев: никогда еще со мной грубо не обходились. Через полчаса, когда Тушар вышел из классной, я стал переглядываться с товарищами и пересмеиваться; конечно, они надо мною смеялись, но я о том не догадывался и думал, что мы смеемся оттого, что нам весело. Тут как раз налетел Тушар, схватил меня за вихор и давай таскать.

– Ты не смеешь сидеть с благородными детьми, ты подлого происхождения и все равно что лакей!

И он пребольно ударил меня по моей пухлой румяной щеке. Ему это тотчас же понравилось, и он ударил меня во второй и в третий раз. Я плакал навзрыд, я был страшно удивлен. Целый час я сидел, закрывшись руками, и плакал-плакал. Произошло что-то такое, чего я ни за что не понимал. Не понимаю, как человек не злой, как Тушар, иностранец, и даже столь радовавшийся освобождению русских крестьян, мог бить такого глупого ребенка, как я. Впрочем, я был только удивлен, а не оскорблен; я еще не умел оскорбляться. Мне казалось, что я что-то сшалил, но когда я исправлюсь, то меня простят и мы опять станем вдруг все веселы, пойдем играть на дворе и заживем как нельзя лучше.

– Друг мой, если б я только знал... – протянул Версилов с небрежной улыбкой несколько утомленного человека, – каков, однако, негодяй этот Тушар! Впрочем, я все еще не теряю надежды, что ты как-нибудь соберешься с силами и все это нам наконец простишь и мы опять заживем как нельзя лучше.

Он решительно зевнул.

– Да я и не обвиняю, совсем нет, и, поверьте, не жалуюсь на Тушара! – прокричал я, несколько сбитый с толку, – да и бил он меня каких-нибудь месяца два. Я, помню, все хотел его чем-то обезоружить, бросался целовать его руки и целовал их и все плакал-плакал. Товарищи смеялись надо мною и презирали меня, потому что Тушар стал употреблять меня иногда как прислугу, приказывал подавать себе платье, когда одевался. Тут мое лакейство пригодились

²⁸ Этот (фр.).

мне инстинктивно: я старался изо всех сил угодить и нисколько не оскорблялся, потому что ничего еще я этого не понимал, и удивляюсь даже до сей поры тому, что был так еще тогда глуп, что не мог понять, как я всем им неровня. Правда, товарищи много мне и тогда уже объяснили, школа была хорошая. Тушар кончил тем, что полюбил более пинать меня коленкой сзади, чем бить по лицу; а через полгода так даже стал меня иногда и ласкать; только нет-нет, а в месяц раз, наверно, побьет, для напоминания, чтоб не забывался. С детьми тоже скоро меня посадили вместе и пускали играть, но ни разу, в целые два с половиной года, Тушар не забыл различия в социальном положении нашем, и хоть не очень, а все же употреблял меня для услуг постоянно, я именно думаю, чтоб мне напомнить.

Бежал же я, то есть хотел было бежать, уже месяцев пять спустя после этих первых двух месяцев. И вообще я всю жизнь бывал туг на решение. Когда я ложился в постель и закрывался одеялом, я тотчас начинал мечтать об вас, Андрей Петрович, только об вас одном; совершенно не знаю, почему это так делалось. Вы мне и во сне даже снились. Главное, я все страстно мечтал, что вы вдруг войдете, я к вам брошусь и вы меня выведете из этого места и увезете к себе, в тот кабинет, и опять мы поедem в театр, ну и прочее. Главное, что мы не расстанемся – вот в чем было главное! Когда же утром приходилось просыпаться, то вдруг начинались насмешки и презрение мальчишек; один из них прямо начал бить меня и заставлял подавать сапоги; он бранил меня самыми скверными именами, особенно стараясь объяснить мне мое происхождение, к утехе всех слушателей. Когда же являлся наконец сам Тушар, в душе моей начиналось что-то невыносимое. Я чувствовал, что мне здесь никогда не простят, – о, я уже начинал помаленьку понимать, что именно не простят и чем именно я провинился! И вот я наконец положил бежать. Я мечтал об этом ужасно целых два месяца, наконец решился; тогда был сентябрь. Я выждал, когда все товарищи разъехались в субботу на воскресенье, а между тем потихоньку тщательно связал себе узелок самых необходимых вещей; денег у меня было два рубля. Я хотел выждать, когда смеркнется: «Там спущусь по лестнице, – думал я, – и выйду, а потом и пойду». Куда? Я знал, что Андроников уже переведен в Петербург, и решил, что я отыщу дом Фанариотовой на Арбате; «ночь где-нибудь прохожу или просижу, а утром расспрошу кого-нибудь на дворе дома: где теперь Андрей Петрович и если не в Москве, то в каком городе или государстве? Наверно, скажут. Я уйду, а потом в другом месте где-нибудь и у кого-нибудь спрошу: в какую заставу идти, если в такой-то город, ну и выйду, и пойду, и пойду. Все буду идти; ночевать буду где-нибудь под кустами, а есть буду один только хлеб, а хлеба на два рубля мне очень надолго хватит». В субботу, однако, никак не удалось бежать; пришлось ожидать до завтра, до воскресенья, и, как нарочно, Тушар с женой куда-то в воскресенье уехали; остались во всем доме только я да Агафья. Я ждал ночи с страшной тоской, помню, сидел в нашей зале у окна и смотрел на пыльную улицу с деревянными домиками и на редких прохожих. Тушар жил в захолустье, и из окон видна была застава: уж не та ли? – мерещилось мне. Солнце закатывалось такое красное, небо было такое холодное, и острый ветер, точь-в-точь как сегодня, подымал песок. Стемнело наконец совсем; я стал перед образом и начал молиться, только скоро-скоро, я торопился; захватил узелок и на цыпочках пошел с скрипучей нашей лестницы, ужасно боясь, чтобы не услышала меня из кухни Агафья. Дверь была на ключе, я отворил, и вдруг – темная-темная ночь зачернела передо мной, как бесконечная опасная неизвестность, а ветер так и рванул с меня фуражку. Я было вышел; на той стороне тротуара раздался сиплый, пьяный рев ругавшегося прохожего; я постоял, поглядел и тихо вернулся, тихо прошел наверх, тихо разделся, сложил узелок и лег ничком, без слез и без мыслей, и вот с этой-то самой минуты я и стал мыслить, Андрей Петрович! Вот с самой этой минуты, когда я сознал, что я, сверх того, что лакей, вдобавок, и трус, и началось настоящее, правильное мое развитие!

– А вот с этой-то самой минуты я тебя теперь навек раскусила! – вскочила вдруг с места Татьяна Павловна, и так даже неожиданно, что я совсем и не приготовился, – да ты, мало того, что тогда был лакеем, ты и теперь лакей, лакейская душа у тебя! Да чего бы стоило Андрею

Петровичу тебя в сапожники отдать? Даже благодеяние бы тебе оказал, ремеслу бы обучил! Кто бы с него больше для тебя спросил аль потребовал? Отец твой, Макар Иваныч, не то что просил, а почти требовал, чтоб вас, детей его, из низших сословий не выводить. Нет, ты не ценишь, что он тебя до университета довел и что чрез него ты права получил. Мальчишки, вишь, его дразнили, так он поклялся отомстить человечеству... Сволочь ты этакая!

Признаюсь, я был поражен этой выходкой. Я встал и некоторое время смотрел, не зная, что сказать.

– А ведь действительно, Татьяна Павловна сказала мне новое, – твердо обернулся я наконец к Версилону, – ведь действительно я настолько лакей, что никак не могу удовлетвориться только тем, что Версилон не отдал меня в сапожники; даже «права» не умилили меня, а подавай, дескать, мне всего Версилова, подавай мне отца... вот чего потребовал – как же не лакей? Мама, у меня на совести уже восемь лет, как вы приходили ко мне одна к Тушару посетить меня и как я вас тогда принял, но теперь некогда об этом, Татьяна Павловна не даст рассказать. До завтра, мама, может, с вами-то еще увидимся. Татьяна Павловна! Ну что, если я опять-таки до такой степени лакей, что никак не могу даже того допустить, чтоб от живой жены можно было жениться еще на жене? А ведь это чуть-чуть было не случилось в Эмсе с Андреем Петровичем! Мама, если не захотите оставаться с мужем, который завтра женится на другой, то вспомните, что у вас есть сын, который обещается быть навеки почтительным сыном, вспомните и пойдите, но только с тем, что «или он, или я», – хотите? Я не сейчас ведь ответа прошу: я знаю, что на такие вопросы нельзя давать ответа тотчас же...

Но я не мог докончить, во-первых, потому, что разгорячился и растерялся. Мать вся побледнела, и как будто голос ее пресекался: не могла выговорить ни слова. Татьяна Павловна говорила что-то очень громко и много, так что я даже разобрать не мог, и раза два пихнула меня в плечо кулаком. Я только запомнил, что она прокричала, что мои слова «напускные, в мелкой душе взлелеянные, пальцем вывороченные». Версилон сидел неподвижно и очень серьезный, не улыбался. Я пошел к себе наверх. Последний взгляд, проводивший меня из комнаты, был укорительный взгляд сестры; она строго качала мне вслед головой.

Глава седьмая

I

Я описываю все эти сцены, не щадя себя, чтобы все ясно припомнить и восстановить впечатление. Взойдя к себе наверх, я совершенно не знал, надобно ли мне стыдиться или торжествовать, как исполнившему свой долг. Если б я был капельку опытнее, я бы догадался, что малейшее сомнение в таком деле надо толковать к худшему. Но меня сбивало с толку другое обстоятельство: не понимаю, чему я был рад, но я был ужасно рад, несмотря на то что сомневался и явно сознавал, что внизу срезался. Даже то, что Татьяна Павловна так злобно меня обругала, – мне было только смешно и забавно, а вовсе не злобило меня. Вероятно, все это потому, что я все-таки порвал цепь и в первый раз чувствовал себя на свободе.

Я чувствовал тоже, что испортил свое положение: еще больше мраку оказывалось в том, как мне теперь поступить с письмом о наследстве. Теперь решительно примут, что я хочу мстить Версилу. Но я еще внизу положил, во время всех этих дебатов, подвергнуть дело о письме про наследство решению третейскому и обратиться, как к судье, к Васину, а если не удастся к Васину, то еще к одному лицу, я уже знал к какому. Однажды, для этого только раза, схожу к Васину, думал я про себя, а там – там исчезну для всех надолго, на несколько месяцев, а для Васина даже особенно исчезну; только с матерью и с сестрой, может, буду видаться изредка. Все это было беспорядочно; я чувствовал, что что-то сделал, да не так, и – и был доволен; повторяю, все-таки был чему-то рад.

Лечь спать я положил было раньше, предвидя завтра большую ходьбу. Кроме найма квартиры и переезда, я принял некоторые решения, которые так или этак положил выполнить. Но вечеру не удалось кончиться без курьезов, и Версил сумел-таки чрезвычайно удивить меня. В светелку мою он решительно никогда не заходил, и вдруг, я еще часу не был у себя, как услышал его шаги на лесенке: он звал меня, чтоб я ему посветил. Я вынес свечку и, протянув вниз руку, которую он схватил, помог ему дотащиться наверх.

– Мерсі, друг, я сюда еще ни разу не вползал, даже когда нанимал квартиру. Я предчувствовал, что это такое, но все-таки не предполагал такой конуры, – стал он посредине моей светелки, с любопытством озираясь кругом. – Но это гроб, совершенный гроб!

Действительно, было некоторое сходство с внутренностью гроба, и я даже подивился, как он верно с одного слова определил. Каморка была узкая и длинная; с высоты плеча моего, не более, начинался угол стены и крыши, конец которой я мог достать ладонью. Версил, в первую минуту, бессознательно держал себя сгорбившись, боясь задеть головой о потолок, однако не задел и кончил тем, что довольно спокойно уселся на моем диване, на котором была уже постлана моя постель. Что до меня, я не садился и смотрел на него в глубочайшем удивлении.

– Мать рассказывает, что не знала, брать ли с тебя деньги, которые ты давеча ей предложил за месячное твое содержание. Ввиду этакого гроба не только не брать, а, напротив, вычет с нас в твою пользу следует сделать! Я здесь никогда не был и... вообразить не могу, что здесь можно жить.

– Я привык. А вот что вижу вас у себя, то никак не могу к тому привыкнуть после всего, что вышло внизу.

– О да, ты был значительно груб внизу, но... я тоже имею свои особые цели, которые и объясню тебе, хотя, впрочем, в приходе моем нет ничего необыкновенного; даже то, что внизу произошло, – тоже все в совершенном порядке вещей; но разъясни мне вот что, ради Христа:

там, внизу, то, что ты рассказывал и к чему так торжественно нас готовил и приступал, неужто это все, что ты намерен был открыть или сообщить, и ничего больше у тебя не было?

– Все. То есть положим, что все.

– Маловато, друг мой; признаться, я, судя по твоему приступу и как ты нас звал смеяться, одним словом, видя, как тебе хотелось рассказывать, – я ждал большего.

– Да вам-то не все ли равно?

– Да я, собственно, из чувства меры: не стоило такого треску, и нарушена была мера. Целый месяц молчал, собирался, и вдруг – ничего!

– Я хотел долго рассказывать, но стыжусь, что и это рассказал. Не все можно рассказать словами, иное лучше никогда не рассказывать. Я же вот довольно сказал, да ведь вы же не поняли.

– А! и ты иногда страдаешь, что мысль не пошла в слова! Это благородное страдание, мой друг, и дается лишь избранным; дурак всегда доволен тем, что сказал, и к тому же всегда выскажет больше, чем нужно; про запас они любят.

– Как я внизу, например; я тоже высказал больше, чем нужно: я потребовал «всего Версилова» – это гораздо больше, чем нужно; мне Версилова вовсе не нужно.

– Друг мой, ты, я вижу, хочешь наверстать проигранное внизу. Ты, очевидно, раскаялся, а так как раскаяться значит у нас немедленно на кого-нибудь опять накинуться, то вот ты и не хочешь в другой раз на мне промахнуться. Я рано пришел, а ты еще не остыл и к тому же туго выносишь критику. Но садись, ради бога, я тебе кое-что пришел сообщить; благодарю, вот так. Из того, что ты сказал матери внизу, уходя, слишком ясно, что нам, во всяком даже случае, лучше разъехаться. Я пришел с тем, чтоб уговорить тебя сделать это по возможности мягче и без скандала, чтоб не огорчить и не испугать твою мать еще больше. Даже то, что я пошел сюда сам, уже ее ободрило: она как-то верует, что мы еще успеем примириться, ну и что все пойдет по-прежнему. Я думаю, если б мы с тобой, здесь теперь, раз или два погромче рассмеялись, то поселили бы восторг в их робких сердцах. Пусть это и простые сердца, но они любящие, искренно и простодушно, почему же не полелеять их при случае? Ну, вот это раз. Второе: почему бы нам непременно расставаться с жаждой мести, с скрежетом зубов, с клятвами и так далее? Безо всякого сомнения, нам вешаться друг другу на шею совсем ни к чему, но можно расстаться, так сказать, взаимно уважая друг друга, не правда ли, а?

– Все это – вздор! Обещаю, что съеду без скандалу – и довольно. Это вы для матери хлопчете? А мне так кажется, что спокойствие матери вам тут решительно все равно, и вы только так говорите.

– Ты не веришь?

– Вы говорите со мной решительно как с ребенком!

– Друг мой, я готов за это тысячу раз просить у тебя прощения, ну и там за все, что ты на мне насчитываешь, за все эти годы твоего детства и так далее, но, cher enfant, что же из этого выйдет? Ты так умен, что не захочешь сам очутиться в таком глупом положении. Я уже и не говорю о том, что даже до сей поры не совсем понимаю характер твоих упреков: в самом деле, в чем ты, собственно, меня обвиняешь? В том, что родился не Версиловым? Или нет? Ба! ты смеешься презрительно и махаешь руками, стало быть, нет?

– Поверьте, нет. Поверьте, не нахожу никакой чести называться Версиловым.

– О чести оставим; к тому же твой ответ непременно должен быть демократичен; но если так, то за что же ты обвиняешь меня?

– Татьяна Павловна сказала сейчас все, что мне надо было узнать и чего я никак не мог понять до нее: это то, что не отдали же вы меня в сапожники, следовательно, я еще должен быть благодарен. Понять не могу, отчего я неблагодарен, даже и теперь, даже когда меня вразумили. Уж не ваша ли кровь гордая говорит, Андрей Петрович?

– Вероятно, нет. И, кроме того, согласись, что все твои выходки вниз, вместо того чтоб падать на меня, как и предназначались тобою, тиранили и терзали одну ее. Между тем, кажется, не тебе бы ее судить. Да и чем она перед тобой виновата? Разъясни мне тоже, кстати, друг мой: ты для чего это и с какою бы целью распространял и в школе, и в гимназии, и во всю жизнь свою, и даже первому встречному, как я слышал, о своей незаконнорожденности? Я слышал, что ты делал это с какою-то особенною охотою. А между тем все это вздор и гнусная клевета: ты законнорожденный, Долгорукий, сын Макара Иваныча Долгорукого, человека почтенного и замечательного умом и характером. Если же ты получил высшее образование, то действительно благодаря бывшему помещику твоему Версилу, но что же из этого выходит? Главное, провозглашая о своей незаконнорожденности, что само собою уже клевета, ты тем самым разоблачал тайну твоей матери и, из какой-то ложной гордости, тащил свою мать на суд перед первую встречную грязью. Друг мой, это очень неблагородно, тем более что твоя мать ни в чем не виновна лично: это характер чистейший, а если она не Версилова, то единственно потому, что до сих пор замужем.

– Довольно, я с вами совершенно согласен и настолько верю в ваш ум, что вполне надеюсь, вы перестанете слишком уж долго распекать меня. Вы так любите меру; а между тем есть мера всему, даже и внезапной любви вашей к моей матери. Лучше вот что: если вы решились ко мне зайти и у меня просидеть четверть часа или полчаса (я все еще не знаю для чего, ну, положим, для спокойствия матери) – и, сверх того, с такой охотою со мной говорите, несмотря на то что произошло внизу, то расскажите уж мне лучше про моего отца – вот про этого Макара Иванова, странника. Я именно от вас бы хотел услышать о нем; я спросить вас давно намеревался. Расставаясь, и, может быть, надолго, я бы очень хотел от вас же получить ответ и еще на вопрос: неужели в целые эти двадцать лет вы не могли подействовать на предрассудки моей матери, а теперь так даже и сестры, настолько, чтоб рассеять своим цивилизующим влиянием первоначальный мрак окружавшей ее среды? О, я не про чистоту ее говорю! Она и без того всегда была бесконечно выше вас нравственно, извините, но... это лишь бесконечно высший мертвец. Живет лишь один Версил, а все остальное кругом него и все с ним связанное прозябает под тем неперменным условием, чтоб иметь честь питать его своими силами, своими живыми соками. Но ведь была же и она когда-то живая? Ведь вы что-нибудь полюбили же в ней? Ведь была же и она когда-то женщиной?

– Друг мой, если хочешь, никогда не была, – ответил он мне, тотчас же скривившись в ту первоначальную, тогдашнюю со мной манеру, столь мне памятную и которая так бесила меня: то есть, по-видимому, он само искреннее простодушие, а смотришь – все в нем одна лишь глубочайшая насмешка, так что я иной раз никак не мог разобрать его лица, – никогда не была! Русская женщина – женщиной никогда не бывает.

– Полька, француженка бывает? Или итальянка, страстная итальянка, вот что способно пленить цивилизованного русского высшей среды, вроде Версилова?

– Ну, мог ли я ожидать, что встречу славянофила? – рассмеялся Версил.

Я припоминаю слово в слово рассказ его; он стал говорить с большой даже охотою и с видимым удовольствием. Мне слишком ясно было, что он пришел ко мне вовсе не для болтовни и совсем не для того, чтоб успокоить мать, а наверно имея другие цели.

II

– Мы все наши двадцать лет, с твоею матерью, совершенно прожили молча, – начал он свою болтовню (в высшей степени выделанно и ненатурально), – и все, что было у нас, так и произошло молча. Главным характером всего двадцатилетия связи нашей было – безмолвие. Я думаю, мы даже ни разу не поссорились. Правда, я часто отлучался и оставлял ее одну, но

кончалось тем, что всегда приезжал обратно. Nous revenons toujours²⁹, и это уж такое основное свойство мужчин; у них это от великодушия. Если бы дело брака зависело от одних женщин – ни одного бы брака не уцелело. Смирение, безответность, приниженность и в то же время твердость, сила, настоящая сила – вот характер твоей матери. Заметь, что это лучшая из всех женщин, каких я встречал на свете. А что в ней сила есть – это я засвидетельствую: видал же я, как эта сила ее питала. Там, где касается, я не скажу убеждений – правильных убеждений тут быть не может, – но того, что считается у них убеждением, а стало быть, по-ихнему, и святым, там просто хоть на муки. Ну а сам можешь заключить: похож ли я на мучителя? Вот почему я и предпочел почти во всем замолчать, а не потому только, что это легче, и, признаюсь, не раскаиваюсь. Таким образом, все обошлось само собою широко и гуманно, так что я себе даже никакой хвалы не приписываю. Скажу кстати, в скобках, что почему-то подозреваю, что она никогда не верила в мою гуманность, а потому всегда трепетала; но, трепеща, в то же время не поддавалась ни на какую культуру. Они как-то это умеют, а мы тут чего-то не понимаем, и вообще они умеют лучше нашего обделять свои дела. Они могут продолжать жить по-своему в самых ненатуральных для них положениях и в самых не ихних положениях оставаться совершенно самими собой. Мы так не умеем.

– Кто они? Я вас немного не понимаю.

– Народ, друг мой, я говорю про народ. Он доказал эту великую, живучую силу и историческую широкость свою и нравственно, и политически. Но, чтобы обратиться к нашему, то замечу про мать твою, что она ведь не все молчит; твоя мать иногда и скажет, но скажет так, что ты прямо увидишь, что только время потерял говоривши, хотя бы даже пять лет перед тем постепенно ее приготавливал. К тому же возражения самые неожиданные. Опять-таки замечь, что я совсем не называю ее дурой; напротив, тут своего рода ум, и даже презамечательный ум; впрочем, ты уму-то, может быть, не поверишь...

– Почему нет? Я вот только не верю тому, что вы сами-то в ее ум верите в самом деле, и не притворяясь.

– Да? Ты меня считаешь таким хамелеоном? Друг мой, я тебе немного слишком позволяю... как балованному сыну... но пусть уже на этот раз так и останется.

– Расскажите мне про моего отца, если можете, правду.

– Насчет Макара Ивановича? Макар Иванович – это, как ты уже знаешь, дворовый человек, так сказать, пожелавший некоторой славы...

– Об заклад побьюсь, что вы ему в эту минуту в чем-нибудь завидуете!

– Напротив, мой друг, напротив, и если хочешь, то очень рад, что вижу тебя в таком замысловатом расположении духа; клянусь, что я именно теперь в настроении в высшей степени покаянном, и именно теперь, в эту минуту, в тысячный раз может быть, бессильно жалею обо всем, двадцать лет тому назад происшедшем. К тому же, видит бог, что все это произошло в высшей степени нечаянно... ну а потом, сколько было в силах моих, и гуманно; по крайней мере сколько я тогда представлял себе подвиг гуманности. О, мы тогда все кипели ревностью делать добро, служить гражданским целям, высшей идее; осуждали чины, родовые права наши, деревни и даже ломбард, по крайней мере некоторые из нас... Клянусь тебе. Нас было немного, но мы говорили хорошо и, уверяю тебя, даже поступали иногда хорошо.

– Это когда вы на плече-то рыдали?

– Друг мой, я с тобой согласен во всем вперед; кстати, ты о плече слышал от меня же, а стало быть, в сию минуту употребляешь во зло мое же простодушие и мою же доверчивость; но согласишься, что это плечо, право, было не так дурно, как оно кажется с первого взгляда, особенно для того времени; мы ведь только тогда начинали. Я, конечно, ломался, но я ведь тогда еще не знал, что ломаюсь. Разве ты, например, никогда не ломаешься в практических случаях?

²⁹ Мы всегда возвращаемся (*фр.*).

– Я сейчас внизу немного расчувствовался, и мне очень стало стыдно, взойдя сюда, при мысли, что вы подумаете, что я ломался. Это правда, что в иных случаях хоть и искренно чувствуешь, но иногда представляешься; внизу же, теперь, клянусь, все было натурально.

– Именно это и есть; ты преудачно определил в одном слове: «хоть и искренно чувствуешь, но все-таки представляешься»; ну, вот так точно и было со мной: я хоть и представлялся, но рыдал совершенно искренно. Не спорю, что Макар Иванович мог бы принять это плечо за усиление насмешки, если бы был остроумнее; но его честность помешала тогда его прозорливости. Не знаю только, жалел он меня тогда или нет; помнится, мне того тогда очень хотелось.

– Знаете, – прервал я его, – вы вот и теперь, говоря это, насмехаетесь. И вообще, все время, пока вы говорили со мной, весь этот месяц, вы насмехались. Зачем вы всегда это делали, когда говорили со мной?

– Ты думаешь? – ответил он кротко, – ты очень мнителен; впрочем, если я и засмеюсь, то не над тобой, или, по крайней мере, не над тобой одним, будь покоен. Но я теперь не смеюсь, а тогда – одним словом, я сделал тогда все, что мог, и, поверь, не в свою пользу. Мы, то есть прекрасные люди, в противоположность народу, совсем не умели тогда действовать в свою пользу: напротив, всегда себе пакостили сколько возможно, и я подозреваю, что это-то и считалось у нас тогда какой-то «высшей и нашей же пользой», разумеется в высшем смысле. Теперешнее поколение людей передовых несравненно нас загребистее. Я тогда, еще до греха, объяснил Макару Ивановичу все с необыкновенною прямою. Я теперь согласен, что многое из того не надо было объяснять вовсе, тем более с такой прямою: не говоря уже о гуманности, было бы даже вежливее; но поди удержи себя, когда, растанцевавшись, захочется сделать хорошенькое па? А может быть, таковы требования прекрасного и высокого в самом деле, я этого во всю жизнь не мог разрешить. Впрочем, это слишком глубокая тема для поверхностного разговора нашего, но клянусь тебе, что я теперь иногда умираю от стыда, вспоминая. Я тогда предложил ему три тысячи рублей, и, помню, он все молчал, а только я говорил. Представь себе, мне вообразилось, что он меня боится, то есть моего крепостного права, и, помню, я всеми силами старался его ободрить; я его уговаривал, ничего не опасаясь, высказать все его желания, и даже со всевозможною критикой. В виде гарантии я давал ему слово, что если он не захочет моих условий, то есть трех тысяч, вольной (ему и жене, разумеется) и вояжа на все четыре стороны (без жены, разумеется), – то пусть скажет прямо, и я тотчас же дам ему вольную, отпущу ему жену, награжу их обоих, кажется теми же тремя тысячами, и уж не они от меня уйдут на все четыре стороны, а я сам от них уеду на три года в Италию, один-одинехонек. *Moi ami*³⁰, я бы не взял с собой в Италию *m-lle Сапожкову*, будь уверен: я был чрезвычайно чист в те минуты. И что же? Этот Макар отлично хорошо понимал, что я так и сделаю, как говорю; но он продолжал молчать, и только когда я хотел было уже в третий раз припасть, отстранился, махнул рукой и вышел, даже с некоторою бесцеремонностью, уверяю тебя, которая даже меня тогда удивила. Я тогда мельком увидал себя в зеркале и забыть не могу. Вообще они, когда ничего не говорят – всего хуже, а это был мрачный характер, и, признаюсь, я не только не доверял ему, призывая в кабинет, но ужасно даже боялся: в этой среде есть характеры, и ужасно много, которые заключают в себе, так сказать, олицетворение непорядочности, а этого боишься пуще побоев. *Sic*³¹. И как я рисковал, как рисковал! Ну что, если б он закричал на весь двор, завыл, сей уездный Урия, – ну что бы тогда было со мной, с таким малорослым Давидом, и что бы я сумел тогда сделать? Вот потому-то я и пустил прежде всего три тысячи, это было инстинктивно, но я, к счастью, ошибся: этот Макар Иванович был нечто совсем другое...

– Скажите, грех был? Вы сказали сейчас, что позвали мужа еще до греха?

– То есть, видишь ли, это как разуметь...

³⁰ Мой друг (*фр.*).

³¹ Так (*лат.*).

– Значит, был. Вы сказали сейчас, что вы в нем ошиблись, что это было нечто другое; что же другое?

– А что именно, я и до сих пор не знаю. Но что-то другое, и, знаешь, даже весьма порядочное; заключаю потому, что мне под конец стало втрое при нем совестнее. Он на другой же день согласился на вояж, без всяких слов, разумеется не забыв ни одной из предложенных мною наград.

– Деньги взял?

– Еще как! И знаешь, мой друг, в этом пункте даже совсем удивил меня. Трех тысяч у меня тогда в кармане, разумеется, не случилось, но я достал семьсот рублей и вручил ему их на первый случай, и что же? Он две тысячи триста остальных требовал же с меня, в виде заемного письма, для верности, на имя одного купца. Потом, через два года, он по этому письму требовал с меня уже деньги судом и с процентами, так что меня опять удивил, тем более что буквально пошел собирать на построение божьего храма, и с тех пор вот уже двадцать лет скитается. Не понимаю, зачем страннику столько собственных денег... деньги такая светская вещь... Я, конечно, предлагал их в ту минуту искренно и, так сказать, с первым пылом, но потом, по прошествии столь многих минут, я, естественно, мог одуматься... и рассчитывал, что он по крайней мере меня пощадит... или, так сказать, нас пощадит, нас с нею, подождет хоть по крайней мере. Однако даже не подождал...

(Сделаю здесь необходимое нотабене: если бы случилось, что мать пережила господина Версилова, то осталась бы буквально без гроша на старости лет, когда б не эти три тысячи Макара Ивановича, давно уже удвоенные процентами и которые он оставил ей все целиком, до последнего рубля, в прошлом году, по духовному завещанию. Он предугадал Версилова даже в то еще время.)

– Вы раз говорили, что Макар Иванович приходил к вам несколько раз на побывку и всегда останавливался на квартире у матушки?

– Да, мой друг, и я, признаюсь, сперва ужасно боялся этих посещений. Во весь этот срок, в двадцать лет, он приходил всего раз шесть или семь, и в первые разы я, если бывал дома, прятался. Даже не понимал сначала, что это значит и зачем он является? Но потом, по некоторым соображениям, мне показалось, что это было вовсе не так глупо с его стороны. Потом, случайно, я как-то вздумал полюбопытствовать и вышел поглядеть на него и, уверяю тебя, вынес преоригинальное впечатление. Это уже в третье или четвертое его посещение, именно в ту эпоху, когда я поступал в мировые посредники и когда, разумеется, изо всех сил принялся изучать Россию. Я от него услышал даже чрезвычайно много нового. Кроме того, встретил в нем именно то, чего никак не ожидал встретить: какое-то благодущие, ровность характера и, что всего удивительнее, чуть не веселость. Ни малейшего намека на *то* (*tu comprends?*)³² и в высшей степени умение говорить дело, и говорить превосходно, то есть без глупого ихнего дворового глубокомыслия, которого я, признаюсь тебе, несмотря на весь мой демократизм, терпеть не могу, и без всех этих напряженных русизмов, которыми говорят у нас в романах и на сцене «настоящие русские люди». При этом чрезвычайно мало о религии, если только не заговоришь сам, и премилые даже рассказы в своем роде о монастырях и монастырской жизни, если сам полюбопытствуешь. А главное – почтительность, эта скромная почтительность, именно та почтительность, которая необходима для высшего равенства, мало того, без которой, по моему, не достигнешь и первенства. Тут именно, через отсутствие малейшей заносчивости, достигается высшая порядочность и является человек, уважающий себя несомненно и именно в своем положении, каково бы оно там ни было и какова бы ни досталась ему судьба. Эта способность уважать себя именно в своем положении – чрезвычайно редка на свете, по крайней мере столь же редка, как и истинное собственное достоинство... Ты сам увидишь, коль пожи-

³² Понимаешь? (*фр.*).

вешь. Но всего более поразило меня впоследствии, и именно впоследствии, а не вначале (прибавил Версиров) – то, что этот Макар чрезвычайно осанист собою и, уверяю тебя, чрезвычайно красив. Правда, стар, но

Смуглолиц, высок и прям, –

прост и важен; я даже подивился моей бедной Софье, как это она могла *тогда* предпочесть меня; тогда ему было пятьдесят, но все же он был такой молодец, а я перед ним такой вертун. Впрочем, помню, он уже и тогда был непозволительно сед, стало быть, таким же седым на ней и женился... Вот разве это повлияло.

У этого Версирова была подлейшая замашка из высшего тона: сказав (когда нельзя было иначе) несколько преумных и прекрасных вещей, вдруг кончить нарочно какую-нибудь глупостью, вроде этой догадки про седину Макара Ивановича и про влияние ее на мать. Это он делал нарочно и, вероятно, сам не зная зачем, по глупейшей светской привычке. Слышать его – кажется, говорит очень серьезно, а между тем про себя кривляется или смеется.

III

Не понимаю, почему вдруг тогда на меня нашло страшное озлобление. Вообще, я с большим неудовольствием вспоминаю о некоторых моих выходках в те минуты; я вдруг встал со стула.

– Знаете что, – сказал я, – вы говорите, что пришли, главное, с тем, чтобы мать подумала, что мы помирились. Времени прошло довольно, чтоб ей подумать; не угодно ли вам оставить меня одного?

Он слегка покраснел и встал с места:

– Милый мой, ты чрезвычайно со мной бесцеремонен. Впрочем, до свиданья; насильно мил не будешь. Я позволю себе только один вопрос: ты действительно хочешь оставить князя?

– Ага! Я так и знал, что у вас особые цели...

– То есть ты подозреваешь, что я пришел склонять тебя остаться у князя, имея в том свои выгоды. Но, друг мой, уж не думаешь ли ты, что я из Москвы тебя выписал, имея в виду какую-нибудь свою выгоду? О, как ты мнителен! Я, напротив, желая тебе же во всем добра. И даже вот теперь, когда так поправились и мои средства, я бы желал, чтобы ты, хоть иногда, позволял мне с матерью помогать тебе.

– Я вас не люблю, Версиров.

– И даже «Версиров». Кстати, я очень сожалею, что не мог передать тебе этого имени, ибо в сущности только в этом и состоит вся вина моя, если уж есть вина, не правда ли? Но, опять-таки, не мог же я жениться на замужней, сам рассуди.

– Вот почему, вероятно, и хотели жениться на незамужней?

Легкая судорога прошла по лицу его.

– Это ты про Эмс. Слушай, Аркадий, ты внизу позволил себе эту же выходку, указывая на меня пальцем, при матери. Знай же, что именно тут ты наиболее промахнулся. Из истории с покойной Лидией Ахмаковой ты не знаешь ровно ничего. Не знаешь и того, насколько в этой истории сама твоя мать участвовала, да, несмотря на то что ее там со мною не было; и если я когда видел добрую женщину, то тогда, смотря на мать твою. Но довольно; это все пока еще тайна, а ты – ты говоришь неизвестно что и с чужого голоса.

– Князь именно сегодня говорил, что вы любитель неоперившихся девочек.

– Это князь говорил?

– Да, слушайте, хотите, я вам скажу в точности, для чего вы теперь ко мне приходили? Я все это время сидел и спрашивал себя: в чем тайна этого визита и наконец, кажется, теперь догадался.

Он было уже выходил, но остановился и повернул ко мне голову в ожидании.

– Давеча я проговорился мельком, что письмо Тушара к Татьяне Павловне, попавшее в бумаги Андроникова, очутилось, по смерти его, в Москве у Марьи Ивановны. Я видел, как у вас что-то вдруг дернулось в лице, и только теперь догадался, когда у вас еще раз, сейчас, что-то опять дернулось точно так же в лице: вам пришло тогда, внизу, на мысль, что если одно письмо Андроникова уже очутилось у Марьи Ивановны, то почему же и другому не очутиться? А после Андроникова могли остаться преважные письма, а? Не правда ли?

– И я, придя к тебе, хотел заставить тебя о чем-нибудь проболтаться?

– Сами знаете.

Он очень побледнел.

– Это ты не сам собою догадался; тут влияние женщины; и сколько уже ненависти в словах твоих – в грубой догадке твоей!

– Женщины? А я эту женщину как раз видел сегодня! Вы, может быть, именно чтоб шпионить за ней, и хотите меня оставить у князя?

– Однако вижу, что ты чрезвычайно далеко уйдешь по новой своей дороге. Уж не это ли «твоя идея»? Продолжай, мой друг, ты имеешь несомненные способности по сыскной части. Дан талант, так надо усовершенствовать.

Он приостановился перевести дыхание.

– Берегитесь, Версилов, не делайте меня врагом вашим!

– Друг мой, последние свои мысли в таких случаях никто не высказывает, а бережет про себя. А затем, посвети мне, прошу тебя. Ты хоть мне и враг, но не до такой же, вероятно, степени, чтоб пожелать мне сломать себе шею. *Tiens, mon ami*³³, вообрази, – продолжал он спускаясь, – а ведь я весь этот месяц принимал тебя за добряка. Ты так хочешь жить и так жаждешь жить, что дай, кажется, тебе три жизни, тебе и тех будет мало: это у тебя на лице написано; ну а такие большею частью добряки. И вот как же я ошибся!

IV

Не могу выразить, как сжалось у меня сердце, когда я остался один: точно я отрезал живьем собственный кусок мяса! Для чего я так вдруг разозлился и для чего так обидел его – так усиленно и нарочно, – я бы не мог теперь рассказать, конечно и тогда тоже. И как он побледнел! И что же: эта бледность, может быть, была выражением самого искреннего и чистого чувства и самой глубокой горести, а не злости и не обиды. Мне всегда казалось, что бывали минуты, когда он очень любил меня. Почему, почему не верить мне теперь этому, тем более что уже так многое совершенно объяснено теперь?

А разозлился я вдруг и выгнал его действительно, может быть, и от внезапной догадки, что он пришел ко мне, надеясь узнать: не осталось ли у Марьи Ивановны еще писем Андроникова? Что он должен был искать этих писем и ищет их – это я знал. Но кто знает, может быть тогда, именно в ту минуту, я ужасно ошибся! И кто знает, может быть, я же, эту же самой ошибкой, и навел его впоследствии на мысль о Марье Ивановне и о возможности у ней писем?

И наконец, опять странность: опять он повторял слово в слово мою мысль (о трех жизнях), которую я высказал давеча Крафту, главное моими же словами. Совпадение слов опять-таки случай, но все-таки как же знает он сущность моей природы: какой взгляд, какая угадка! Но, если так понимает одно, зачем же совсем не понимает другого? И неужели он не ломался,

³³ Вот, друг мой (*фр.*).

а и в самом деле не в состоянии был догадаться, что мне не дворянство версировское нужно было, что не рождения моего я не могу ему простить, а что мне самого Версирова всю жизнь надо было, всего человека, отца, и что эта мысль вошла уже в кровь мою? Неужели же такой тонкий человек настолько туп и груб? А если нет, то зачем же он меня бесит, зачем притворяется?

Глава восьмая

I

Наутро я постарался встать как можно раньше. Обыкновенно у нас поднимались около восьми часов, то есть я, мать и сестра; Версилов нежился до половины десятого. Аккуратно в половине девятого мать приносила мне кофею. Но на этот раз я, не дождавшись кофею, улизнул из дому ровно в восемь часов. У меня еще с вечера составилась общий план действий на весь этот день. В этом плане, несмотря на страстную решимость немедленно приступить к выполнению, я уже чувствовал, было чрезвычайно много нетвердого и неопределенного в самых важных пунктах; вот почему почти всю ночь я был как в полусне, точно бредил, видел ужасно много снов и почти ни разу не заснул как следует. Несмотря на то, поднялся бодрее и свежее, чем когда-нибудь. С матерью же я особенно не хотел повстречаться. Я не мог заговорить с нею иначе как на известную тему и боялся отвлечь себя от предпринятых целей каким-нибудь новым и неожиданным впечатлением.

Утро было холодное, и на всем лежал сырой молочный туман. Не знаю почему, но раннее деловое петербургское утро, несмотря на чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится, и весь этот спешащий по своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня, в восьмом часу утра, нечто особенно привлекательное. Особенно я люблю дорогой, спеша, или сам что-нибудь у кого спросить по делу, или если меня кто об чем-нибудь спросит: и вопрос и ответ всегда кратки, ясны, толковы, задаются не останавливаясь и всегда почти дружелюбны, а готовность ответить наибольшая во дню. Петербуржец, среди дня или к вечеру, становится менее общителен и, чуть что, готов и обругать или насмеяться; совсем другое рано поутру, еще до дела, в самую трезвую и серьезную пору. Я это заметил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.